

ОТРЫВКИ ИЗ РОМАНА ПЕТРА ВЕРШИГОРЫ «ДОМ РОДНОЙ»

Примечание: числа в скобках () - нумерация страниц по изданию П.Вершигора «Дом родной» гос. издательство «Картя Молдовеняскэ», Кишенёв. 1963. тираж 200 000.

Предисловие к роману

Действие романа Петра Вершигоры «Дом родной» разворачивается в первый послевоенный год, когда наша страна вновь встала на путь мирного строительства. Особенно тяжелое положение сложилось в областях и районах, переживших фашистскую оккупацию. О людях такого района и рассказывает автор.

Решение существенных хозяйственных вопросов во многих случаях требовало отступления от старых, довоенных порядков. На этой почве и возникает конфликт между основными действующими лицами романа: секретарем райкома партии боевым партизаном Швыдченко, заместителем райвоенкома Зуевым, понимающими интересы и нужды людей, с одной стороны, и председателем райисполкома Сазоновым, опирающимся только на букву инструкции и озабоченным лишь своей карьерой, — с другой. Конфликт обостряется и тем обстоятельством, что еще живет в среде некоторых работников дух недоверия к людям, находившимся в оккупации или в гитлеровском плену.

Рассказывая о жизни в небольшом районе, автор отражает один из трудных и сложных этапов в истории нашей страны, поднимает вопросы, имевшие большую остроту, показывает, как партия решала эти вопросы.

Речь полковника Коржа 22 июня 1941 года

Вообще полковник Корж собеседник был оригинальный. Выражался он всегда напрямик, неизысканно, немногословно. Но всегда точно. Ввиду краткости и меткости выражений речи его запоминались всегда почти дословно. Старожилы полка передавали из пополнения в пополнение речь подполковника Коржа, произнесенную в семь часов утра 22 июня 1941 года перед командным составом своего полка.

Полк стоял на Украине, и Корж считал себя вправе говорить по-украински. Без военного и политического этикета. Как чувствовал, так и рубанул:

— Браты! Ось и прыйшов час нам показати, що нэ даром мы народный хлеб йили. Так? Ну, приказ получили, — значить, об чем разговор?! Выполнять, и баста! Выступаем на Бэрлин. А чи скоро до нього дотопаем, — цього нэ скажу. Бо и сам того нэ знаю. Про всэ вам политруки расскажут и з газет узнаетэ по ходу дила. Даю сорок минут на сборы и прощания-цилування. Жинкам скажити, щоб не курвылысь без вас, а понималы, що вы теперь не просто йихни пиднадзорни мужики, а защитныки родины! Ну, и растолкуйтэ, як умиете, що до полной победы вас ображать — обижать нэ дило. Всэ. Вольно! Разойдысь!..

Речь эта не только была понятна и русским, и белоруссам, и армянам, но так, на украинском языке, и повторялась со всевозможными акцентами по дорогам войны и на привалах.(14)

О мелкой буржуазии

Долго ехали молча.

Затем собеседник поглядел по сторонам, покачал неодобрительно головой и видимо, вспоминая о порядках, вернее. беспорядках, виденных им между Одером и Вислой, задумчиво сказал:

— Гитлер и наш районный шеф полиции Нычипор Бамбула на евреев зря поклеп возводылы... Зуев заинтересовался.

— Ну що воны нация торговая и, значит, паразиты. Наиздывся я по Европам... Так от где торгують... Оце так! Один мае дюжину пуговыць, другой — шкурку на дамские тухвельки, четвертый — пачек пять сигарет, и кожен хоче обмануть другого. А коло хаты нагажено, а дороги такие, что ребра на них поломаешь... И все торгують, проше пана, торгують...

Зуев даже смутился от такого откровенного шовинизма:

— А шахтеры?

— Ну, то трудящий народ. А трудящий народ везде один. Що в Расеи, що у нас, на Донце, що под тою Одрою...

— Чего же ты. бригадир, так на освобожденных братьев?

— А хибя я про братьов славян? **Я про мелку буржуазию. Самое подлое племя это на свете.** У нас в оккупации оно тоже вылезло, как жаба весною. Бендера их крепко оживляв... А если говорить про полякив, то до них мий такой упрек: дуже воны этой мелкой торговле да шпекуляции волю дають... А впрочем, то вже ихне дило... Потом покаються. Труднее им до социализму повертати будет. А сегодня — самый раз. Зуев заметил, как прищуренный зрачок бригадира мельком скользнул по его лицу.

— Помню, как тогда, когда батки наши с гражданской по домам попрыхали, и у нас... во^{Стр.2} время нэпа частник полиз було...

— Что-то не верится, чтобы у нас даже во время нэпа была такая сплошная спекуляция... — возразил Зуев. — Ну допускаю, что гнилое мещанство или еще не приспособившиеся из мелкого люда занимались этим.

— Это ты верно подметил, — подхватил бригадир. — А ведь здесь Европа... — И, отвернувшись, он ловко циркнул сквозь щербинку в передних зубах.

Зуев улыбнулся одними губами, не отрывая глаз от дороги.

— А песню тебе не доводилось слышать? — спросил бригадир. — Я в терчастях, помню, служил, под Харьковом... — Он замурлыкал навязчивый мотивчик песенки двадцатых годов, слышанной и Зуевым в детстве:

И по винтику, по кирпичику

Растащили весь этот завод... (24)

О тех кто принял первым удар

Говорят, на войне люди много думают. Это верно, конечно, но после войны думают ещё больше. Зуев думал много, неторопливо и молча осматривая Брестскую крепость. Тут он выслушал рассказы сторожилов о её защитниках сорок первого года. Правда, тогда он не обратил внимания на эту героическую эпопею, выглядевшую в 1945 победном году довольно бледно по сравнению с битвой на Волге, под Курском, Витебском, Бобруйском и многими героическими страницами великой военной страды. А еле мерцавшее имя лейтенанта Ноганова, комсорга, принимавшего комсомольские взносы за июль и август 1941 года в ста пятидесяти метрах от границы с «областью государственных интересов Германии» и набросавшего в блокнот тезисы доклада о международном положении на третье августа того же года, безусловно, меркло рядом с громкими именами знаменитых полководцев, слава о которых гремела в тот победный год по всему белому свету. Тем более что ни лейтенант Ноганов, ни его товарищи уже ничего не могли ни убавить, ни прибавить к своей военной доблести.

Позже, чем дальше отходила страна и все человечество от этих исторических рубежей. Зуев неоднократно со все возрастающей горечью вспоминал об этом своем равнодушии. **«Как же это могло со мной случиться?» Но он был тогда молод, и не ему было плыть против течения. Общественное заблуждение отдавало все предпочтение героям великого победного марша.**

Правда, уже тогда метко было засвидетельствовано поэтом:

...Города сдают солдаты,

Генералы их берут...

Однако, к чести нашего капитана, надо сказать, что именно тогда, сидя на обломке крепостной кладки, вывороченной ударом тяжелого бетонобойного снаряда, он записал в свой походный солдатский дневничок такую сентенцию: **«В сорок первом году мы выдержали не только военный удар небывалой силы. Мы выдержали еще и удар психологический. И сейчас не только нам понятно, что если мы его выдержали тогда, то теперь нам ничего не страшно.**

Слава тем, кто принял его своей грудью первыми!»

Записал и подумал об атомной бомбе, страшный ядовитый гриб которой в те дни взвился где-то далеко, над неизвестной Зуеву дотеле Хиросимой. (29)

Подвиг народа

Леса и дороги, холмы и овраги Смоленщины, а затем и Подмосковья раскрывали перед русским человеком после победы свой новый облик. В шуршании колес машины уже иногда слышались Зуеву шелесты страниц истории и будущих книг... Должно же его поколение рассказать потомкам о себе и попытаться раскрыть все величие подвига нашей нации. Капитан еще не мог словами выразить эту мысль — нет, даже не мысль, а огромное чувство, владевшее всем его существом. Он пил, как воду в жару, это чувство, и никак не мог напиться. Расстилались вокруг поля, перелески, заливные луга и болотца, дремучие леса, полуразрушенные города и села, сожженные деревушки; дети и женщины-горемыки в землянках и полуосыпавшихся блиндажах — они даже называли их по-чужому: бункерами; бывалые солдаты с растерянными глазами на застывших в залихватской улыбке лицах — все, все, даже ветры и облака, казалось, требовали свято сохранить и передать в века народный подвиг, запечатлеть все те бездонные глубины души, которые раскрыло наисуровейшее испытание — война. **Зуев понимал, что отгремевшая война — это больше, чем любая война прошлого. Это была грозная проверка еще небывалого в мире содружества свободных народов.**

«Нет, мы не посмеем распылить, растерять этот драгоценный опыт, купленный ценою крови

народа», — размышлял капитан. Ему вспомнились рыжие глаза «филина» и разговор с ним на^{Стр.3} автострате Берлин—Дрезден.

«Неужели все это исчезнет, как пыль, взвихренная за машиной?» — шептал он, нажимая на газ.

Зуев, как и многие из его товарищей, часто думал о секрете победы. Те, кто знал горечь первых месяцев отступления, отчаяния поражений, следовавших одно за другим, часто и после победного конца войны с удивлением, а наиболее впечатлительные и с изумлением спрашивали себя: **«Неужели это мы?! Те самые, которые драпали в сорок первом, паниковали еще и весной сорок второго, сжав зубы, стояли насмерть на реках, высотах и рубежах пыльно-пожарным летом и, навалившись израненным народным плечом, осенью того же года удержали эту лавину?! Неужели это мы нашли в себе силу не только выстоять, но и, поднатужившись, повернуть на запад? И не только изгнать, но и повергнуть могучего врага».**(30)

...капитан вспомнил, как одна старуха из-под Орши, мать трех солдат и жена партизана, сказала ему:

— Эх, сынок... Горя-то много. Ох, много... Но ничего. В жизни и такое бывает: засеваешь слезами, а пожнешь радостью.(31)

И этот неиссякаемый оптимизм народа, выдержавшего и Батыево и Наполеоново нашествие, напомнил поразившие его еще в детстве слова деда Зуя:

— После пожара народ богатеет...(32)

Город Подвышков - родина Петра Зуева

Город Подвышков был поставлен на реке Иволге в конце XVI или начале XVII века беглыми староведами. Когда-то его окружали непроходимые леса. Дороги к нему вились тогда меж болот и песчаных карстов. В прошлом столетии Подвышков стал центром окрестной торговли. Быстро рос и развивался. В округе нашла пристанище добрая сотня купчин и мелких промышленников. Основным ремеслом, намного перекрывающим местное потребление, были спички. Еще беженцы-староверы делали их вручную. Держали кое-какие домашние приспособления, рассчитанные на изготовление самозажигающихся лучин; сначала производили для себя да разве еще для соседей по улице. Только с XIX века быстро образовались небольшие мастерские, а затем, по требованию купцов, полукустарные фабрички. Эти уже работали на вывоз. В сороковых годах спичек производили около пятидесяти тысяч пудов в год, а к концу столетия вывоз их достиг ста двадцати тысяч пудов.

Как истый историк, Петяшка Зуев, параллельно с изучением археологии, еще в школе составлял себе историко-статистические сводки промышленного развития родного города. Цифры эти добывал путем тщательных расспросов старожилов, матери и деда. Мать его была настоящая, как говорили в Подвышкове, коренная пролетарка. Молодой девушкой ушла она на фабрику. Достойная дочь старика Зуева, она в первые же годы революции стала активисткой. Выйдя замуж за курчавого красавца белоруса Карпа Демчука-Заурского, не пожелала ни венчаться в церкви, ни изменять отцовской фамилии при записи в загсе.

Муж ее так и не дождался рождения первенца. Он сгорел на фабрике возле автомата от вспыхнувшего фосфора: несколько десятков килограммов жидкой горючей кашицы, в которую ежедневно обмакивали миллионы тоненьких квадратных лучин-спичек, вмиг превратили красивого, молодого парня в обугленную бабку.

Петяша Зуев сохранял дедову фамилию по линии матери. — Старый Зуй ему за батьку, как Иосиф — Христу-господу. Такого же выпендюля вырастят. Видали — все по книжкам по советским жить собираются, прости господи, — судачили соседи-староверы и кумушки в поселке.

При советской власти был выстроен в городке на Иволге бумажный комбинат. В годы первой пятилетки это предприятие переоборудовали; было оно хотя и небольшое, но рентабельное. Тогда же из десятка мелких спичечных мастерских было свезено все оборудование в один корпус, и коробки с этикеткой фабрики «Ревпуть» пошли по всей стране. А частенько шагали и за пределы ее. На экспортный заказ спички делались с повышенным воспламенением. Их недолюбливали работники фабрики: несмотря на все предосторожности и меры, самовозгорание все же случалось. Особенно не любили труженики «Ревпути» английский спецзаказ — требовалась спичка, которую можно было бы зажечь и о подошву сапога, и о стол, и о стеклянную бутылку.

Капитан Зуев вспомнил эти производственные детали мимоходом, когда шел знакомой улицей.

По обеим сторонам выстроились дома — простые русские избы, отличавшиеся от деревенских разве только более изысканной резьбой наличников. Заборы, ворота, деревья, мимо которых пробегал

он тысячу раз... Тут был знаком каждый бугорок и поворот. Но, странное дело, он узнавал и не^{Стр.4} узнавал их. Все было каким-то мелким. «Уменьшился в масштабах родной городок, — подумал про себя старожил этого древнего рабочего поселка. — Вроде бы и взрослым уходил на войну, а вот, поди ты, вырос». Размышлять на ходу, мысленно разговаривать с самим собой было у него закоренелой привычкой. Он почти всегда иронически относился к своим ощущениям и представлениям об окружающей его жизни — это была неосознанная черта человека, никогда не стоящего на месте, всегда ищущего, стремящегося вперед.

«Да, не был ты на этой улице давно, уже без малого пять лет». Пять лет, во время которых пришлось повидать больше полудесятка державных столиц — Варшаву, Берлин и Прагу, не менее сотни больших торговых и приморских городов на Балтике, на Черном море, на Волге, Днепре, Эльбе и на Дунае. «Да, брат, измельчал в твоих глазах родной Подвышков по сравнению с увиденным на родине и на чужбине». **И что-то похожее на тревогу закралось в сердце: «Как буду тут жить теперь?»**(38-39)

Главная задача секретаря райкома партии Швыдченко

Городок Подвышков, а по существу рабочий поселок, стоял в стороне от шоссейных дорог, а железнодорожная магистраль перерезала район с запада на восток на две части. Была эта магистраль из тех, которые, пропуская десятка грузовых поездов, только два раза в сутки могут блеснуть почтовым поездом второстепенного значения, связывающим пассажирским движением ближайшие областные города трех славянских республик. Еще над городом скрещивались две авиатрассы: одна шла из Москвы на юго-запад, вторая соединяла столицы Украины и Белоруссии. Поезда шли тут, казалось, извечно, но эти, часто и равномерно проходившие в вышине самолеты, властно напоминали Швыдченке, что где-то есть другая, активная жизнь, сведения о которой ежедневно приносило радио, газеты и журналы. Проходившие в вышине самолеты были как бы напоминанием о том, к чему надо стремиться, чего еще как будто и в помине нет, но что будет, обязательно будет, если районная партийная организация во главе со Швыдченко сумеет правильно разглядеть, вовремя предусмотреть и устранить многочисленные препятствия, которые послевоенная коварная судьбина расставляла на ее пути. **Одним словом, главную задачу, цель своей жизни и работы Швыдченко видел в борьбе со «стихией».** Под этим словом он подразумевал все: и нищенское состояние колхозов, и недостатки идейной и культурно-просветительной работы в районе, и кажущееся снижение сознательности граждан района, и возросшую спекуляцию, и религиозные предрассудки, и немощь экономики, израненной войной.(49-40)

Первый год войны - проверка на прочность

На его молодую жизнь выпало немало горьких разочарований. **Он привык свято верить установленным правилам. Уже в начале войны на кровавом опыте сотен тысяч жизней своих соотечественников увидел, что гордые, приятные слова о том, что мы не хотим никакой чужой земли, но и свою не собираемся отдавать, — не всегда и не сразу сбываются. На поверку они оказались правильными лишь наполовину.** Во время ожесточенных бомбежек в Гомеле, Чернигове, и Курске он не раз хриплым голосом напевал песенку из популярного фильма: «Любимый город может спать спокойно...», заканчивая ее матерщиной по адресу киношников и поэтов, посмеявшихся перед самой войной так нагло обманывать народ. Молодые ребята — откуда им было знать, что песенки не всегда точны, а лозунги не сразу сбываются? Они способны увлечь, успокоить, поднять за собой людей, но не сразу, не вмиг они исполняются историей. Ему самому приходилось отдавать пядь за пядью эту священную, родную землю. И миллионам людей тоже. **По долгу службы, дисциплины и по привычке, с детства привитой рабочей средой, он уважал своих начальников и верил в них. Но с какой горечью пришлось узнать, что некоторые из них в первые дни войны оказались растапами и трусами... Одни ушли с постов, а некоторые — из жизни, отнюдь не окупив поражений своей кровью; он видел панику и бегство людей, которым никак не следовало бежать; наконец, он узнал о позоре плена своих братьев — этого предпоследнего перед смертью, но более тяжелого, чем самая худшая смерть, состояния человека на войне.** Но эти горькие думы всегда, почти всегда уравнивались и во сто крат перекрывались другими, действительно мудрыми лозунгами и делами, титаническими усилиями народа-героя, тяжелым, кровавым подвигом воинов, разумными командами и личным примером овеянных народной славой полководцев.

Поколению Зуева, которое вошло в войну лишь чуть-чуть перевалив на третий десяток, **многое показалось неожиданным, разочаровывающим, неправильным. Эти люди привыкли ко всему готовому, что начало уже перед войной складываться в стандарты общественной жизни и социалистического быта.** Они были здорово подкованы в комсомоле политически и культурно и неплохо

подготовлены советской школой. В массе своей они считали себя революционерами. И не зря^{Стр.5} считали. Но многие из них, еще не обученные самой великой школой — жизнью, заскользили и заспо- тыкались на первых ее тяжелых ухабах; а другие, более стойкие, пройдя первые испытания, все же не могли привыкнуть к катастрофам. Страшные трудности деятелей большевистского подполья и оше- ломляющие подвиги героев гражданской войны были знакомы им по рассказам, похожим на увлека- тельные сказки, да по книгам. Они выглядели так красиво и заманчиво в кинофильмах! **Но теперь жизнь повернулась своей обратной стороной, и, видимо, не всем, жаждущим подвигов, было суждено выдержать неясность и запутанность обстановки, неизвестность и неожиданность дей- ствий врага и необъяснимые поступки своих людей.** Все это одних пугало, рождали страх, недове- рие, сомнение, другим же было дано преодолеть это сразу и действовать без оглядок и колебаний. То были либо стихийные герои, либо убежденные бойцы. **Но день за днем партия своим могучим орга- низующим влиянием делала героями десятки и сотни тысяч обыкновенных, средних людей. В этом и был секрет победы!**

Был среди них и незаметный герой, пехотный комбат, потомственный пролетарий Петр Карпович Зуев. И он испытал горечь отступлений и разочарований... Но они не сломили его. Тяжелую ношу облегчало то, что ее разделяли все честные граждане его страны. Причины всех тех чудовищных пре- пятствий, которые выпали на долю его поколения, осмысленно, организованно вскрывались партий- ной мудростью, указывавшей в самых тяжелых, казалось, безвыходных, положениях на зерна будущей победы. И миллионы разных по духу людей мужественно дрались, становясь под знамена партии Ле- нина. Не по летам умудренный войной, Зуев не просто знал, а всем своим естеством чувствовал, **что сила народа — в его единении вокруг партии и ее руководства.** Это убеждение подсказывал и опыт пехотинца. **В первой шеренге на марше идти легче, чем в середине, а последнему всегда приходится трусить рысцой, а то и безнадежно отставать.** Зуев не вырывался вперед, но и никогда не был в хвосте.

А вот теперь на него одного свалилась эта совсем нечаянная, чудовищная, несправедливая беда. И он обессилел, поник перед нею. Может быть, потому, что сейчас он был один, совсем один. Даже мать и та ушла...

Да, да, ему не привыкать переносить удары судьбы. Были такие испытания, которые могли бы раз- давить и самые сильные натуры. Но он их выдержал с честью. Он вспомнил фронт 1941 года, частые зенитные хлопки в небе, оглушительный грохот вражеских авиабомб, звон в ушах и гарь взрывных газов, от которых першило в горле и вылезали из орбит глаза. Вспомнил отчаянные атаки, нехватку патронов и гранат... На Днепре, в седьмой атаке возле Речицкого моста, он лежал в песках и слушал рокот приближающихся танков. Хотелось руками разорвать грудную клетку, вырвать собственное сер- дце и швырнуть его под лязгающие гусеницы как противотанковую гранату. В последний момент при- бежали комиссар полка и с ним четыре коммуниста. Они несли в обыкновенных веревочных «авось- ках» бутылки с горючей жидкостью и с широкими длинными лучинками, прижатыми к холодной зеле- ни стекла обыкновенными аптекарскими резинками. Смешные бутылки!

Но в седьмой атаке от них, этих бутылок, запыхало пять фашистских танков.

— Русь-коктейль! — орали фрицы, выскакивая из горящих машин.

Он вспомнил самолеты со свастикой, осиные талии «мессеров» — длинных, вертявых ос, склепан- ных из дюралюминия всей Европы.

А часто им навстречу летели на фанерных самолетах наши соколы.

— Русь-фанер, русь-фанер! — кричала в листовках и орала в рупор какая-то белогвардейская плотка.

— Йован на дубе летит, — через фашистский радиоусилитель насмехались враги.

— Мы вас учим воевать, — спесиво цедило сквозь зубы пленное прусское офицерье еще задолго до сдачи в плен Паулюса.

— Учителя, сукины сыны! — истерично кричал комиссар полка...

— А как же? Конечно, учителя! — спокойно говорил полковник Корж.

Зуев опять прильнул горячим лбом к холодному стеклу.

«Все было: и слезы, и оцепенение, и невероятная матерщина, которой «освежались», как гнилой во- дой из болот Полесья и Налибокской пуши...»(63-66)

Диалог с матерью

— А как вы посмели добежать до Волги? Как? Говори!

....

И вдруг тихий голос матери раздался из-за полога:

— Мы рожаем вас, мы хвалимся: сын, сын-кормилец, сын-защитник. И вот он вырос,^{Стр.6} сын — защитник родины! А вас, пленных, гнали через наш поселок. Сотнями, как баранов. Ты увидел бы тогда глаза матерей...

И она говорила, говорила о пленных, о трусах. Говорила и о подпольщиках, партизанах, фронтовиках, о госпитальных мучениках и штабных шаркунах. И Зуев, потрясенный, молчал. Эти люди — все они были и его народ, только разные его категории, группы...

Мать не называла их, а приводила примеры, рассказывала о судьбах людей, прошедших на ее глазах за три года. Требовательный ее голос, голос рабочей матери, был спокоен, тверд. Зуев, не прерывая, тупо слушал. (66-67)

И он снова вспомнил седьмую танковую атаку на Днепре перед Речицей. И бутылки, принесенные комиссаром. Когда возле его окопчика оставили десяток бутылок, он привязал шпагатом терку к поясу, чтобы не потерять в бою. Взял бутылку и попробовал на вес. Широкая лучина — длиной с карандаш — была покрыта смесью бертолетовой соли, серы и клейких веществ. Зеленоватая смесь. Та самая, что давалась на английский спецзаказ, от которой так часто самовоспламенялась партия подготовленного полуфабриката на спичечной фабрике — от такой вот и погиб его отец. Танки шли. Но он как замороженный смотрел на огромную спичку, прикрепленную двумя резинками к литровой бутылке. И вдруг он узнал в ней руку матери. Мальчишкой он гордился тем, что мать была ударницей. Тогда еще часть продукции делалась вручную, и мать выполняла по полторы-две нормы. А в честь Октября, Восьмого марта и Первого мая давала по две с половиной. «Несла вахту моя маманька!», — гордился тогда Петяшка. Мать не обмакивала решетку со спичками в массу, как делали другие, а быстро проводила ею слева направо так, что в корыте поднималась небольшая густая волна. Получалось все очень быстро и за смену удваивало производительность. Только головки были обмакнуты чуть-чуть наискосок. По этому косому срезу серной головки на большой спичке-лучине он узнал руку знаменитой ударницы «Ревпути»: это посылала ему мать! Прimitивное и поэтому смешное оружие против бронированного и ненавистного врага. Это была та родная, единственная, которой можно было все сказать, на все пожаловаться. Но это посылала им всем и та, большая, единая для всех нас мать — родина!

«Эй, Петяшка, Петяшка», — как будто услышал он тогда маманькин голос.

Он поджег тогда два танка.

И вот сейчас этот же дорогой голос говорил ему:

— Как же ты посмел бросить нас врагу, как посмел добежать до Волги?.. (67)

Председатель райисполкома Сазонов

Тот и до войны был предриком. Деловым и знающим Кончил юридические курсы, неплохо знал сельское хозяйство. По части законов и распоряжений был непревзойденным докой, но не был ни бюрократом, ни сухим бумагоделом. Многообразие жизни ловко скрещивалось у него в сознании и с официальным упорядочением ее в разумном порядке. **Но честно и тщательно усваивая законы и инструкции, Сидор Феофанович привык во всем ожидать указания сверху и собственных решений не принимать.** Правда, тогда он еще не догадывался, что люди живут на свете не только потому, что им разрешают это прокуроры, милиция, председатели и секретари различных рангов, что можно, скажем, орать на людей, подобных Шамраю. Но Зуеву и сейчас не было известно, **что в 1941 году Сазонову почудилось, что главная опора жизни рухнула. Временное отступление казалось тому концом света.** В обкоме ему предложили остаться в подполье, но, видимо, такое оцепенение прочел секретарь обкома в его белесых глазах, что тут же, не задав ни одного вопроса, снял трубку и отдал распоряжение о выдаче документов на эвакуацию коммунисту Сазонову Сидору Феофановичу, его законной супруге Маргарите Павловне и трем детям — Сане, Майке и Тимуру. С этими абсолютно законными бумагами вся семья относительно благополучно прибыла в Чимкент. Но все дело было в том, что работников области эвакуировали лишь в ближайший прифронтовой тыл, куда отошел вместе со штабом армии обком. А в эти далекие края Сазонов добежал уже как дезертир. Правда, ему удалось кое-как подправить документы. Но кто мог в глубоком тылу разобраться в таких тонкостях?

В Чимкенте пошатнувшаяся была вера в начальство и порядок выиграла в Сидоре Феофановиче с новой силой. Но для себя он твердо решил наперед пока не вылезать. Терпеливо перебивался на мелкой работенке в артели, оперирующей кишмишем и черносливом. Но пуще глаза берег он документы: эвакуационное свидетельство и справку с последнего места работы. С ними он и вернулся в 1944 году в свою область. Все у него было чисто, оформлено, зарегистрировано. Положительных характеристик целая куча. Вера в порядок и хорошо оформленные бумаги и на сей раз не подвела. Работники в освобожденных районах нужны были до зарезу. В отделе кадров облисполкома, а затем

в обкоме его тщательно и долго проверяли. В анкете все было в порядке: родственников за гра-Стр.7 ницей нет, в плену и на оккупированной территории не был, колебаний не имел, взысканий — тоже, и послали Сазонова, включив в номенклатурные списки, на ту же работу, что и до войны.

Но ведь от своей совести не убежишь. Что-то треснуло в душе человека за время прозябания на кишмишной должности, что-то оборвалось, некая душевная жила, лопнуло и разлилось желчью, горькой и противной. Если бы он был на фронте! Но не всем же там быть! Или в партизанах! Он ведь не отказывался, ни слова не сказал против. Да и не всем же быть там, черт бы побрал эту войну!.. Как не хотелось вспоминать те страшные дни, а особенно ночи, темные осенние ночи 1941 года, освещаемые лишь пожарами да мерцанием ракет... этой проклятой фашистской орды, без устали догонявшей его, Сазонова, его жену, его любимых детей. Если бы он хоть делал снаряды или танки! Тоже нет.

От дорожных мытарств и эвакуационной голодухи у него и у Маргариты Павловны появилась жадность: к пайкам, утвари, обстановке. **Судорожно цепляясь за теплое место в жизни, он и сам не заметил, как из активного участника передового дела, каким он был, превратился в прозябателя. И тут появилась ложь.**

— Активненько поработаем, товарищи? — призывал он своих подчиненных. А сам норовил кое-как отсидеть положенные часы и — поскорей домой, на обед, а после сытной еды — на диванчик.

А вслед — неприязнь к людям на костылях или с узловатыми палками в руках, требовательными и ставшими почему-то чужими.

Он долго сдерживался, маскируя черствость внешней вежливостью, стараясь скрыть отсутствие интереса к их судьбам внешне культурной речью. Но их трудно было обмануть. Они с удивительной пронизательностью умели смотреть прямо в глаза, в душу, и почти все очень быстро обнаруживали в ней пустоту. И тогда либо молча, презрительно уходили, либо, скрипя зубами, глотали матерные слова, либо грохали костылями, давая волю истерзаным нервам. (89-90)

Различия между военной и гражданской жизнью

Зуев принадлежал к тому поколению, которое еще в годы юности было втянуто в общественную работу. Но война наложила свой отпечаток на сознание этих бывших пионеров, низовых комсомольских активистов. **Там требовалось умение командовать и подчиняться.** Это была одна из высших доблестей воина. Возвращаясь же в гражданские условия, они не сразу улавливали все грани, путали военные и штатские нормы должностных отношений, служебных связей и соподчинении. (93-94)

Разговор молодежи со стариками из Орлов

Швыдченко запнулся. Зуев вспомнил: ещё в юношеские годы он видел неоднократно стариков в Орлах, носивших георгиевские кресты. Были там и полные георгиевские кавалеры. Эти как-то особенно ярко начищали царские награды, нацепляя их даже в революционные праздники.

Комсомольцы-шефы из «Ревпути» и подвышковской школы как-то решили просветить стариков. Неудобно на революционных праздниках козырять царскими крестами. Да и религиозным дурманом пахнет.

Словесную агитацию те пропускали мимо ушей. Но когда «три мушкетёра» из лёгкой кавалерии однажды уж очень пристали к старику Алёхину, полному кавалеру, тот твёрдо сказал им:

- Ни царь, ни лигерия тут ни при чём. Это есть знак отличия... Даден родиной, а не царём. Так-то...

На каверзный вопрос Зойки, что же такое, с точки зрения Алёхина, родина, старик презрительно оглядел её с ног до головы и, отвернувшись сказал:

- Этого тебе, вертихвостка, не понять, - и тут же, снисходительно обращаясь к Шамраю и Зуеву, добавил: - **Родина - это то, за что ты кровь пролил... и за что против супостатов сражался... вот так.**

Ребята так и ушли, ничего не добившись, весело посмеиваясь над устаревшими взглядами стариков.

А через несколько лет, на фронте, за Днепром, Зуев как-то вспомнил этот случай в тесном кругу офицеров. Но тогда всё выглядело по-иному... И многое непонятное и потому смешное в детстве казалось на фронте предельно ясным и очень, очень серьёзным. Слушатели на фронтовом биваке задумались.

- Крепких взглядов был мой дед-покойник, - промолвил тогда капитан Алёхин. - Помню, помню я этот ваш разговор. Хотел было я вас камнями тогда спровадить, да дед удержал: **«Оружие, малец, только против врагов в действие пускать надо, а дураки и сами поумнеют.. по прошествии времени».** Как, товарищ комбат? (108)

...Зуев, еще раз подводя черту виденному у Горюна, Евсеевны и у «орлов», главным считал вывод: **народ наш не только терпеливый, смелый на войне, честный и напористый в труде, но и гордый в победе, с достоинством гражданским, мужественно встречающий не только горести разрухи, но и наветы формалистов и издевательства бюрократов. И этот народ вкрадчивым ханжам, чванливым бюрократам, усердным формалистам не забить. Фашизм не забил, а им и подавно...**(114)

Подвиг генерала Сиборова

Жизнь и последний подвиг генерала Сиборова — легендарного командарма — были в общих чертах еще раньше известны Зуеву. Всего несколько месяцев назад видел он и камень посреди площади с надписью о том, что здесь, на могиле, будет сооружен памятник. В период топтания под Ржевом, когда Зуеву пришлось в первый раз попасть по легкому ранению на отдых, он проездом остановился в небольшом селе, где-то между Ярцевом и Вязьмой. Село стояло в безлесной, немного всхолмленной местности — типичное русское село с деревянной церквушкой в центре. Никаких важных дорог и военных объектов вокруг не было, но, несмотря на это, в село тогда прибыла команда саперов, солидно вооруженная всяческими инструментами для извлечения мин. И Зуеву случайно пришлось присутствовать при удивительной истории.

Начальником этой группы почему-то было лицо в больших чинах. Во время ночевки Зуев, тогда еще совсем зеленый лейтенант, узнал, что в этом самом селе после его освобождения войска натолкнулись на большую могилу с нестандартным обелиском: был он приземист, кургуз и неуклюж, сделан из кряжистого комля березы или вяза, выкрашен тем черно-грязным цветом, каким немецкая армия красила свою технику: танки, машины, орудия. На ровно подрезанном толстом суку была прибита каска. Большой кованый гвоздь, продетый сквозь рваную дыру, надежно прикреплял ее к суку. Кто-то снял эту каску и обнаружил под ней надпись на русском и немецком языках: «Здесь похоронен храбрый русский герой, генерал-лейтенант Сиборов, над прахом которого немецкие солдаты склоняют свои знамена». Выше надписи стандартный немецкий крест, внизу дубовые листья — символ крепости духа, венчающие у немцев только храбрейших из храбрых.

— Провокация, — решили в контрразведке. — Вероятно, заминированный бугор...

Основания к тому имелись. При отходе обозленные фашисты часто минировали не только склады, дома, но и могилы. Не гнушались иногда оставлять отравленное продовольствие и спиртное. Версия эта все более укреплялась, так как опрошенные жители не помнили никаких похорон. Они только рассказали, что весной 1942 года немцы зажали на колхозном дворе каких-то окруженцев и сражались с ними около суток. Видели также, что после боя вели к штабной машине одного израненного русского. Переночевав, отряд вражеских войск ушел, оставив свежую могилу у церкви со странным обелиском и каской. Когда колонна вражеских машин выстроилась к маршу, на церковном пригорке, как табунок воробушков, собрались вездесущие мальчишки. К ним подошел немецкий ефрейтор или вахтмайстер с крестами и рубцом через все лицо.

«Наискосок его рубануло, — рассказывал один деревенский паренек. — Подошел ён к нам и стал на губной гармошке играть. А потом на пальцах фокусы показывать. Робята смеются. ён раза два оглядывается — не смотрит ли ахвицер, а потом поглядел на нас так сурьезно и глазами на ту могилу с каской зырк-зырк. Показывает, значит. Мы ничего, молчок, — что дальше будет... А ён нам: «Рус мальшык, карош рус мальшык, слюшай — тут могил и железный шапок не трогайт, не подходишь... Там есть пп-у-ф». Заминировано. значит — мы сразу догадались. А ён тогда гармошку к губе — да марш как заиграет! И пошел, пошел к машине...»

Предупреждение о минах подействовало. Жители обходили обелиск стороной.

Наши войска, освободив край, наткнулись на эту загадку. особенно она никого не интересовала: мина так мина. Мало ли мин понатыкано на нашей земле. Но когда какому-то проезжему старшине, не предупрежденному населением, вздумалось сбить поржавевшую каску и под ней оказалась таинственная надпись, молва пошла по всему фронту.

Дело в том, что действительно был такой командарм генерал-лейтенант Сиборов. Командовал он армией, находившейся на самом острие удара наших войск в январе 1942 года. Как стальным шилом, проткнул он своей ударной группой носорожьей шкуру вражеского фронта. И устремился вперед, в обход Вязьмы с юго-востока. Но вражеское командование срезало узкий клинышек «под корешок». Сиборов с ударной группой очутился в тылу врага. В полном окружении. Семь суток прорывался он к своим на участке правого соседа. Затем связь пропала. Канонада и пожары, наблюдаемые не слишком ретивым соседом, удалялись все дальше и дальше на Запад. А затем совсем исчезли. Наступило

затишье.

В тот день, когда наши саперы, возглавляемые большим начальником, раскапывали могилу генерала. Зуеву представлялось, что все участники героической эпопеи погибли. Естественно, что сейчас, ночью, на Курской дуге, слова, сказанные командиром саперов: «мы, сиборовцы», вызвали у него бурю воспоминаний и острый интерес к собеседнику. Ведь он наверняка многое знает о последних днях и минутах группы генерала Сиборова, могилу которого он, Зуев, помогал раскапывать саперам.

— Слыхали, слыхали мы на Западном о таких, — сказал Зуев. — Так ты тоже из сиборовцев? Постой, постой, как ты рапортовал? «Старший лейтенант Иванов...» Ну и ну... Тесная земля стала, если мы тут встретились. Теперь нам не спать до полуночи... Вали, друг сиборовец, докладывай все по порядку... А ты, Шамраище, слушай, не перебивай. Это, брат, такая история — и внуки о ней не забудут. Да подбрось дровишек в костер.

Внимательно слушая Иванова, Зуев все же решил пока промолчать о том, что знал сам.

Было нехолодно... Природа застыла в спокойном раздумье. Как мать, только что родившая первое дитя, она отдыхала, еле дыша... Небо и земля были залиты звездным светом, и далекие-далекие светила казались светлыми, словно и к ним доходило отражение белых снегов России. Это непривычное еще, но уже строго зимнее лицо природы было похоже на ее сон. Но людям, увлеченным самой сильной страстью — страстью выяснения истины, уже канувшей в прошлое, не хотелось спать.

Увидев в майоре Зуеве не просто досужего слушателя, а кровно заинтересованного в судьбе их группы хорошего, честного воина, Иванов стал рассказывать не спеша, со многими подробностями. Из этого рассказа очевидца Зуеву яснее стала представляться до сих пор во многом туманная для него картина.

— Ураганом проносились мы по штабам корпусов и армейским тылам Центральной группы армий... Ох и зашевелились тогда немецко-фашистские войска! А тут, понимаешь, в это время Гитлер наезжал со своей ставкой... Под Смоленск. Фронт еще был за Вязьмой, а здесь все полыхает: пожары, а по ночам вокруг канонада... Это была работа многих отрядов смоленских мстителей. Грозные имена «Дедушки», полков «Лазо» и «Жабо», знаменитые «Тринадцать», дивизия «Галюги» уже крепко давали о себе знать. Это о них во время войны была сложена песня:

...И на старой Смоленской дороге
Повстречали незваных гостей.

Но генерал Сиборов, а вместе с ним и лежащий рядом с Зуевым Иванов действовали северо-восточнее этих крупных очагов народной борьбы. И связи с ними не имели.

Вслушиваясь с интересом в басовитый голос начальника саперов, Зуев теперь ясно представлял себе трагическую ситуацию, возникшую зимой сорок второго между Смоленском и Вязьмой. Там шла уже народная война. И Зуев многое знал о ней. Он бывал не раз сам в окружении, вылетал с десантниками в дивизию «Галюги» и имел немало дружков из смоленских партизан полка «Тринадцать», влившихся в их дивизию в ходе наступления.

— Здорово мы их долбанули, — задумчиво басил сапер, разламывая пополам картошку. — Вот тогда по приказу фюрера и была снаряжена экспедиция оберста Шмидке...

«Правильно рассказывает, — подумал Зуев, — во время раскопок таинственной могилы упоминали о таком немецком генерале или оберсте Шмидке».

Зуев все яснее и яснее представлял себе трагедию боевой группы Сиборова. Он почти физически ощущал, как вокруг остатков батальонов храбрецов наматывался целый клубок тайн и военно-психологических предрассудков, самых опасных из всех предрассудков человечества. Дальше все было ясно. Во всяком случае, активному участнику этой трагедии — Иванову.

— Эх, братцы! Вражеские батальоны вцепились в нас, как гончие в зубра. Больше месяца продолжалась эта схватка. Все было исчерпано: боеприпасы, патроны, связь. Оберст Шмидке уже, наверное, чувствовал себя генералом...

Иванов в это трагическое для всей группы, для командарма Сиборова время находился с остатками своих саперов при самом генерале. Он просто и бесхитростно рассказывал Зуеву о том, как разведка не раз докладывала Сиборову, что на западе, где-то в районе Дрогобужа и Ельни, действуют вооруженные патриоты.

Вслушиваясь в эти слова сапера, **Зуев понимал, что для того, чтобы боевая группа генерала Сиборова могла прийти к резкому изменению тактики, обстоятельства не давали ей времени. И он сказал Иванову:**

— Пока были силенки, генералу бы к партизанам податься. Или гонор не позволял, что ли?

— Не было, понимаешь, свободной минуты одуматься, осмотреться, поразмышлять, — ответил Ива-

А Зуеву стало ясно: загнанная в полустепную местность, преследуемая самолетами и танками тающая группа героев принимала на себя возмездие озверевшего врага. **Но мало этого: она была лишена единственного тыла на оккупированной территории — связи с населением.** «Вот в чем был просчет вашего генерала», — подумал молодой майор и сказал об этом собеседнику. Тот посмотрел на военкома, затем на Шамрая, который молча вслушивался в разговор.

— Об этом и я потом вспоминал, — проговорил Иванов. — **Словом, выходит, что плавали мы с генералом как бы в море, а без пресной воды.**

— Это, брат, мы, тикавшие из концлагерей, хорошо испытали на собственной шкуре, — легко и беззлобно резюмировал Шамрай.

Помолчали, вдумываясь в смысл давно прошедших событий.

Иванов рассказывал дальше.

— К началу весны нас осталось всего около двухсот человек. Почти все были ранены, контужены, — сказал Иванов и вдруг замолчал.

Картины этой тяжелой, безвыходной борьбы встали перед Зуевым и Шамраем как живые. Слишком большой и тернистый путь был у обоих за плечами, чтобы не схватить с полуслова трагическую боль. Они видели, как за генералом шли изможденные, похожие на скелеты, бойцы и офицеры, в лохмотьях зимней одежды, с глазами, глубоко запавшими в глазницы. Там были контуженные, гангренозные, продырявленные, но еще живые тела, трясущиеся руки, дергающиеся подбородки и грозные, воспаленные глаза. Неделями не произносили ни одного слова, кроме команды и криков «ура», стоны и матерщины; там были навсегда оглохшие люди, забывшие свои имена, помнившие только о том, что они «сиборовцы». Там были, наконец, сошедшие с ума от нечеловеческого напряжения, еще физически живые существа с нервами, не выдержавшими сотен бомбежек и танковых атак. **Но там не было только одной категории людей, как будто неизбежной на войне: не было изменников.** И генерал знал это... Он верил каждому, и пока была вера в солдат, была надежда вырваться из лап смерти или позорного плена. Судьба до сих пор хранила его самого, и, неуловимый для пуль врага, сеявших вокруг смерть, он становился все выше и авторитетнее среди своих подчиненных.

Но слепой вражеский осколок, вопреки приказу Гитлера — взять генерала живьем, все же прошил ему бедро. Огромный человек на глазах у остатков своего войска рухнул навзничь. Воины его поднялись в последнюю атаку. Но она была уже ненужной. Каждый искал в ней только смерти. И нашел ее.

— ...И все же, прикрытые этой атакой, мы подняли огромное тело генерала. Нас было семеро, и мы выволокли его, восьмого, из огня и понесли оврагами в рожицу. Два дня лежали мы на морозе, все лицом к генералу.

Зуев и Шамрай без слов поняли: они согревали раненого командарма своим дыханием.

— На третью ночь мы ползком подошли к небольшому селу и в полубреду забрались в колхозный сарай. Зарылись в сено и там проспали мертвым сном. Сколько, не знаю. Но не меньше суток. Все восемь раненые, истощенные. Так прошел еще день. Вечерело, когда мы собрались продолжать свой путь на восток. Вот тут и обнаружил нас полк СС оберста Отто Шмидке.

— Я знаю это село с деревянной церквушкой посередине, — сказал майор Зуев. Удивленный сапер застыл, раскрыв рот.

Да, теперь многое Зуеву становилось ясно. Он вспомнив строки из письма немецкого коммуниста: «Оберст Шмидке сразу радировал в группу армии, указывая координаты: «Генерал Сиборов окружен, а с ним не более ста человек...». «Счастливчик, этот оберст!» — заговорили в штабе. В ставку был вызван Браухич. Гитлер сгорал от нетерпения. Он почти решил и эту сложную задачу. Он уже привык к маниакальной мысли, что в глазах, в лице русского гиганта он найдет разгадку этой войне на Востоке».

Иванов продолжал:

— Цепи солдат окружили колхозный двор плотными шеренгами... Они так и лежали всю ночь. Все попытки выскользнуть из окруженного сарая нам не удавались. И когда стало сереть, мы увидели в ста шагах цепи немцев. Они лежали на подтаявшем снегу как снопы. Сначала казалось, что они мертвы. Но они двигались. Медленно ползли. Мы поднесли генерала к окну. Он уперся руками в бревенчатую стену и так стоял во весь рост. Долго оглядывал местность.

— Все, ребята! Подпускать поближе...

И когда где-то за серыми тучами невидимое забрезжило солнце, загрохотали гранаты, забубнил свою последнюю боевую сказку пулемет «дегтярь» и застрекотали штабные ППД.

Майор Зуев совсем забыл, что он только слушает рассказ очевидца о событии четырехлетней дав-

ности. Фантазия дополняла события по-своему.

Передовые цепи фашистов сразу откатились. Немецких солдат злило то, что оберст приказал не употреблять зажигательных пуль, отличных немецких зажигательных пуль, уже пустивших дымом пол-России.

— Живьем, только живьем! — хрипел оберст за каменным зданием школы. Он там честно зарабатывал генеральские лампасы. Он находился в двухстах шагах от этого отчаянного храбреца. Он негодовал. Неужели и у этой низшей расы могут появляться свои Зигфриды? Но даже если они и есть — тем лучше. Победит немецкая идея, немецкий материал, немецкий расчет, немецкое упорство! Хайль Гитлер и генеральские погоны в тридцать четыре года.

Пока полк оберста Шмидке перестраивался для новой атаки, в колхозном сарае происходило, по словам Иванова, следующее:

— Патроны и гранаты — все, — доложил я генералу. Нас теперь было восемь: генерал, два офицера и пять человек сержантского и рядового состава. Это было все, что осталось от моего саперного батальона и штаба армии. И когда мы отдышались, увидели — совсем хана. Во время первой атаки сарая в пылу боя мы расстреляли даже последние обоймы своих пистолетов.

Зуев ясно представил себе, как генерал Сиборов резко повернулся к своим солдатам. Прислонившись спиной к бревенчатой стене, он смотрел на них просто и печально.

Иванов тихо продолжал:

— Вот закрою глаза, и стоят они передо мною: сибиряк Арефьев — парень-гвоздь, следопыт и снайпер из таежных охотников; вот усатый старшина Опанасенко — выпивоха и бабник; Яремчук — земляк старшины и удивительный разведчик; Балобан — одесский рабочий, железнодорожник и сапер-минер; телефонист и вестовой генерала Женя Колтушев и «лейтенант с гадюкой» — студент-медик, делавший нам всем перевязки, Вова Зильберштейн. Мы — их командиры, мы обязаны им выход указать. Но выхода ж нет.

Генерал так прямо и сказал:

«Ребята, всё. Выхода больше нет... Есть один выход — плен...»

Блеснули глаза у ребят. Враждебно, подозрительно. Наш генерал криво усмехнулся.

«Кто не желает этого выхода — два шага вперед!»

Зуев и Шамрай слушали затаив дыхание эту исповедь с того света... И они чутьем поняли, что, как и подобает комбату, первым шагнул Иванов. Но он не сказал об этом. «Высшая скромность или трагическая вина...» — даже не подумал, а почувствовал Зуев. А Шамрай... тот только тихо застонал.

«Я не желаю живым сдаваться в плен», — сказал за комбатом старшина Опанасенко.

«Я тоже», — повторил минер Балобан.

«Сибиряки не сдаются», — подтвердил девиз Иртыша и Оби снайпер Арефьев.

«Я предпочитаю смерть», — сказал медик Вова.

«Не сдаюсь!» — с веселой гримасой тряхнул чуприной старшина Яремчук.

«Прошу смерти...» — шепнул девятнадцатилетний вестовой Женя Колтушев.

Все.

Генерал Сиборов смотрел посветлевшими глазами на всех семерых. На своих последних солдат. А они, как бы выравниваясь в строю, плотно сдвинулись, обессиленные, опираясь плечами друг на друга.

А кругом зимняя, морозная-морозная тишина.

Вдруг лица воинов осветились розовым, мерцающим светом.

«Ракета» — мрачно шепнул старшина Яремчук.

«К оружию!» — прохрипел снайпер Арефьев. Он подбежал к ручному пулемету, схватил его. Опомился и бросил наземь.

Генерал молча вынул пистолет из кобуры. Почти не хромая, он подошел к медику. И остановился, прислушиваясь. Хлопки ракет и голоса подгоняющих цепь гитлеровских офицеров приближались.

«Прощай, Вовка... выполняю твою последнюю просьбу!»

Он быстро обнял солдата, поцеловал и тут же выстрелил ему в переносицу.

Так он подходил к каждому...

Долго молчал рассказчик. Изредка потрескивали горящие бревна в костре. Снова зажурчал голос под молчаливыми, бесстрастными звездами.

— ...И осталось нас только двое: я, комбат Иванов, и мой командарм — генерал Сиборов. Ох и трудно было встать с земли. Казалось, последним патроном, выпущенным из ППД по немецкой цепи, кончилась вся моя силушка... Но я пересилил себя и поднялся. И не помню, вроде сам подошел к

генералу. А он смотрит на меня так печально. Затем вынул пустую обойму и швырнул ее в сторо-Стр.12 ну. И как блеснуло в мозгу: в стволе у него последний патрон — один на двоих. Чей же он?

«Этого патрона я не могу вам отдать, товарищ комбат,— так просто и нежно сказал мне мой генерал. И сразу остановил меня жестом. — Ближе не подходи!» А затем громко так, тоном команды: «Приказываю вам, товарищ комбат, сдаться раненым в плен. Приказываю рассказать врагу о последних днях оперативной группы командарма Сиборова. Мы не совершили ничего такого, чего могли бы стыдиться перед своей армией и народом. Нам теперь нечего скрывать и от врага. Пускай знает и содрогнется». Он подошел ко мне, долго смотрел на меня. Потом обнял меня за плечи. «Прощай, Ваня. Я не могу иначе... Видишь — им нужен генерал Сиборов живой... этой победы я им не дам. Не поминай лихом. Живи... по приказу командарма. Наши это поймут... Пусть не сразу, но поймут. И никогда не осудят». Он еще хотел что-то сказать, но в двери сарая заколотили прикладами. Генерал Сиборов поднял пистолет к виску. Выстрела я уже не слышал.

Иванов умолк. Сухой перестрелкой разгорались в костре свежие поленья, подброшенные Шамраем. Все сидели задумавшись.

А ночь замерла. Вызвездило так, что на выпавшую первую порошу падал отсвет мерцающих звезд. Хотя не было луны, но было ясно. Безветренный воздух, казалось, застыл, задумавшись над рассказом сапера.

— Так, значит, тот немецкий коммунист писал чистую правду, — сказал после долгого молчания майор Зуев.

— Какой немецкий коммунист? — быстро спросил Иванов.

— Которого послал к эсэсовцам Эрнст Тельман. Мы нашли его письмо в шинели генерала Сиборова. Он понял, что главная задача его жизни — раскрыть нам, русским коммунистам, эту тайну...

— Правильно понял, — сказал Шамрай.

— Так было и письмо? — медленно спросил сапер.

— Было. Оно кончалось примерно так: «...через несколько часов этого русского расстреляют. Возможно, это сделаю я, если не будет другого выхода. В полку у нас паника. Оберст Шмидке разжалован лично Гитлером. За то, что не взял русского генерала живым. Полк отправляют на фронт, в самое пекло. Если я дотяну до прибытия на передовую и перейду туда, я смело скажу всем, что я все-таки выполнил задание Эрнста Тельмана. Если же меня раскроют раньше — я теперь знаю, что делать. Меня научили русские. Живым гитлеровцы меня не возьмут... Рот фронт!»

— Толковый, видать, был малый, — сказал Шамрай.

— Гамбургский рабочий, — сказал Зуев.

— Вот найти бы его письмо, — промолвил Шамрай. — Таким людям в Германии теперь цены нет.

Сапер, полулежа на локте, не моргая, смотрел в огонь. — Этот немец лежит в нашей русской земле и живет в моем сердце... Это он спас мне жизнь. — И, резко вскочив на ноги, Иванов вынул из кобуры парабеллум и подал его Зуеву: — Вот его оружие. Он вывел меня за околицу и подвел к большому стогу соломы. Уже смеркалось. Немец бросил мне лопату и показал — копай. И я стал не спеша трудиться над своей могилой. В селе вспыхнула ракета, и немец сказал по-русски: «Время». Стоял он шагах в пяти, а я примеривался, сумею ли подбежать к нему, чтобы ударить лопатой прежде, чем он выстрелит. Но когда со стороны деревни показались двое с автоматами, немец ткнул в меня пальцем и быстро-быстро заговорил. Половины слов я не понял. Но он показывал то на себя, то на меня и говорил:

«Ду — коммунист, их — коммунист», — это ясно можно было понять. А затем он выстрелил один раз в воздух из пистолета, бросил мне эту машинку и крикнул: «Бегай, пан, бегай!» Маскируясь скирдой соломы, я бросился бежать. Сзади слышны были выстрелы. Но стреляли не по мне...

«Конечно, об этом самом немце с гармошкой рассказывал тот мальчишка, — подумал Зуев. — Так вот они, оказывается, какие — подпольщики Эрнста Тельмана».

Три бывалых вояки долго сидели у костра. Первым встал Шамрай. Он прошелся вокруг костра и шагнул к Иванову, сказал с оттенком зависти:

— Да, повезло тебе, старший лейтенант. Тот не понял.

— Ну что ж, раз немец действительно коммунист был да еще самого Тельмана друг-товарищ. Но я то об этом не подумал тогда, — словно оправдываясь, промолвил Иванов.

— Тут уже не везение, а закономерность. История, можно сказать, на тебя трудилась, — добавил Зуев.(168-178)

— А как же Иван Яковлевич?

— А это кто такой? — спросил Сашка.

— Подгоруйко. Иван Яковлевич. Учитель истории и географии...

— Да они и не знают, — вмешалась в их разговор Евдокия Степановна. — Повесили его фашисты... говорят, подпольщиком был... И ребяташек трех из седьмых классов. Тоже повесили... Уж больно хлесткие листовки против Гитлера и против Флитгофта — тутошнего начальника — они сочиняли. С рисунками. Как в стенгазете.

И мать рассказала **простую и довольно часто случавшуюся на оккупированной территории историю двух людей**. В данном случае они оба были учителя: Иван Яковлевич Подгоруйко, известный подвышковский бунтарь и подрыватель районных авторитетов, и Порфирий Петрович Лебзев — активист, блюститель порядка и правильного течения жизни. **Первый** все критиковал, и самые чинные собрания не обходились без его каверзных вопросов. **Второй** таким был подкованным человеком, что его даже в комиссии для составления резолюций всегда включали. Это и была, в сущности, его штатная должность. И основное занятие.

— А как насунула эта фашистская орда, — развела руками мать, — так наш Порфирий через три недели бургомистром объявился.

— Ну а Подгоруйко?

— Повесили его немцы... за помощь партизанам.(182)

Американская армия

Эльбе с союзниками, очень часто и откровенно, по-дружески встречались и общались с союзной армией. Американские парни, в пилотках, сдвинутых набекрень, в расстёгнутых блузах полувоенного образца, очень дружелюбно настроенные, не вызывали у наших ничего, кроме открытого товарищеского чувства к ним.

- Армия как армия... Немножко смахивает на цыган механизированного порядка. Уж больно много шума и движения, - резюмировал полковник Корж. - А впрочем, кто их знает, какие они вояки. Железо ведь огнём проверяется.

- Техника у них хороша, - вставлял кто-нибудь из поклонников автомобилизма.

- А «джипсы» - это и значит по английски цыгане, - говорил Зуев, торопливо изучавший английский язык.

- Не так хороша, как много её. Девать некуда...(186)

Иностранное кино

Во время пребывания в Европе в госпитале Зуев посмотрелся немецких и американских картин до тошноты. Раненым, а особенно выздоравливающим госпитальные киномеханики крутили трофейные фильмы напропалую. В первое время, по новинке вглядываясь в чужую, незнакомую жизнь, Зуев, как и многие его товарищи, то восхищался, то просто удивлялся — как живут люди на чужой стороне. Но уже где-то на двадцатом сеансе приходило прозрение. Сюжеты, фабулы, приемы, действующие лица, костюмы и даже декорации стали назойливо повторяться. **И во всей это мешанине и мельтешне человеческих фальшивых чувств, скачек и драк явно чувствовалась одна-единственная погоня за чисто внешней новизной, выкручиванием новеньких трюков и больше ничего.**(187)

Жизненный идеал

Для миллионов его соотечественников, как и для его сверстников, по-юному честных и преданных, готовых мужественно разобраться в противоречиях своего времени и служить его высоким целям, нужен был пример, идеал. Конечно, для Петра Зуева, как и для его поколения, таким идеалом был Сталин. Его возвеличенный, на котурнах возвышавшийся над всем народом и партией образ поражал воображение. Ему хотелось бы подражать. Но он где-то парил над всеми, подавлял всех и вся своей недостижимостью. Все, что делала партия, приписывалось только одному этому человеку. Все, что он изрекал, принималось за истину. И дистанция была так велика, что все конкретное исчезало, как заретушированные рябинки, скрытые фотографами и художниками. Наиболее искренне и самостоятельно думающие люди интуитивно чувствовали, что тут есть какой-то перебор... но, даже чувству это, они боялись признаться другим, а часто и самим себе в этом недозволенном, а иногда, казалось, и кощунственном подозрении, так как они верили в коммунизм, в партию, в честный, благородный идеал вожда, любили героическое прошлое партии и стремились вместе с ней к будущему.

Но именно из-за этой недостижимой высоты многим простым людям было мало этого всеобщего

стандарта. Им нужен был идеал поближе, поконкретнее. И действительно, вольно или невольно,^{Стр.14} но у каждого был свой «собственный» идеал, почаше встречающийся, менее великий, более доступный... Для многих рабочих ребят это были их отцы, их дяди, матери и старшие сестры, участники гражданской войны и большевистского подполья, славные комиссары, герои и труженики первых пятилеток. Те, кто постарше, поопытнее, но поближе, познакомее... Для однополчан Зуева таким был полковник Корж. Этот был уже совсем близко: каждый день, каждый час — одна земля, одна дорога, одна судьба, один снаряд. Наверно, их было много, таких комдивов и комполков... Это были люди, прошедшие рядовыми солдатами или младшими командирами горнило гражданской войны, те, что кончали первые школы красных командиров и первые академии Красной Армии: рабочие и крестьяне, поднявшиеся в ленинское время на высоты военной науки и общечеловеческой культуры. Это были оставшиеся в живых после гражданской войны многочисленные Чапаевы, Щорсы и Котовские, такие, как генерал Сиборов и полковник Корж. Многие из них — может быть, даже большинство — сложили свои головы в Отечественной войне, а другие доживают свою мужественную жизнь сейчас...(200-201)

Полковник Корж о 1937 году

...майор Зуев немного обиженно молчал. «И чего он перестраховывается? О тридцать седьмом годе почему-то стал спрашивать? А впрочем...» Зуев вспомнил, что среди офицеров ходила молва, что нашего полковника, мол, потому не пускают вперед и не особенно жалуют, что он в тридцать седьмом году как-то «погорел». И он долго смотрел на полковника, стоявшего к нему спиной.

Но коль скоро набежала на его идеал та тень, которую набросил на многих трагический год, он уже не мог молчать. Служебные отношения, может быть, и не позволяли этого. Но он знал и хорошо помнил, что его начальник прощает все, кроме неправды и неискренности. А кроме того, ему все же было жаль расставаться с мыслью об устройстве на военную службу Шамрая.

— Разрешите спросить, товарищ полковник? — тихо начал он.

— Чего еще? — не оборачиваясь, сказал Корж.

— Говорили у нас в полку ребята... я точно не знаю, но разговоры такие шли... вы не обижайтесь, если что не так... но говорили ребята, что в тридцать седьмом году вы... ну, как у нас говорят, погорели, что ли.

Полковник Корж не обернулся и, угрюмо глядя в стенку, сказал:

— Погорел. Верно. Ну и что же?

— Не могу понять никак, — сказал Зуев. Полковник резко повернулся и подошел к нему вплотную. Лицо его было суровым, но не злым.

— Чего же ты не можешь понять, малец? — спросил он, горько улыбнувшись. — Был ли я когда-то сукиным сыном? Так, что ли? Нет, никогда я им не был...

— Нет, нет, — протестующе сказал Зуев. — Я не так спрашивал. Как же это могло быть? Ведь мы же знаем вас и авторитет ваш...

Он запнулся и, не зная, что говорить дальше, умоляюще посмотрел на начальника, извиняясь взглядом за то, что затронул его за живое.

— Ничего, ничего... Ты правильно спросил, — понял его полковник Корж. — Сидел я по клевете и навету. И ребра мне ломали. И измену пришивали... Ну и что же? Ты хочешь сказать, что это несправедливо... А ты думаешь, что я сам не знаю этого? На своей шкуре знаю. Может быть, ты скажешь, что парень этот твой, что в плену был, на меня похож? Он что — ожесточился, может быть? Ну, так у него кишка тонкая, так ты ему и объясни. Ведь могут быть и ошибки. Вот в этом ты ему будешь первейший друг. Ты ему объясни все.

— А если я и сам не понимаю?

— У тебя отец есть? — вдруг неожиданно, без паузы, спросил он Зуева.

— Нет. Мать одна. Да дед был — Зуй по-уличному.

— Так вот. Случалось у тебя, когда мальчонком был, так: вроде и ничего не нашкодил ты, а матка или старик тебя отлупцевали? Бывало?

— Ну, бывало, — ответил Зуев.

— **А все-таки на матку обижаться, брат, нельзя. Обидно, конечно, сам понимаю. А обижаться нельзя.** Так ему и объясни. В жизни все бывает. Пройдет время, жизнь впереди большая.

И он снова отошел к окну, вглядываясь куда-то в далекие дали.

— «Жизнь як морэ...» — сказала мне одна украинская тетка на Букринском плацдарме, — как всегда поворачивая поучительный разговор на философский лад, сказал майор Зуев.

— Так-то оно так, — живо подхватил родной украинский говорок полковник Корж, — но не^{Стр.15} совсем, брат, и так. Это просто наша украинская побаска... Для величания и для темного человека, что, может быть, и моря-то никогда не видел, оно вроде и убедительно, а настоящие робаки говорят у нас по-другому: «Жизнь як ныва... все на ней родится: и пшеничка, и горох, и с дивчиною удвох» — так поется в песне. **А бурьяна и чертополоху в ней тоже хватает. И будь готов, брат, всегда от этого бурьяна, чертополоха людей наших советских спасать. Ну и, пока молод, сам его берегись.** (202-203)

Международное положение

И Швыдченко решил не рыпаться. Когда ему дали слово, он сказал хрипловатым ученическим голо-сом только одну заученную фразу:

— Признаю допущенную грубую ошибку, осуждаю ее категорически...

Помалкивать и не рыпаться Швыдченко решил еще и потому, что **время наступало трудное**. Недавно, четвертого марта, где-то на другом конце земного шара, в городишке Фултоне, доселе никому в наших краях не известном, хитрый мопсообразный человек произнес речь, набросившую зловещий оттенок на все последующее время. Речь эта стала если не рубежом послевоенных отношений между бывшими союзниками, то, во всяком случае, подлой затравкой для разгульных надежд на новую человечью мясорубку. Не всеми сразу была понята она. Мало ли речей говорят на свете. Но брошенная там перчатка с вызовом была поднята. Еще не были, как гранаты, кинуты в мир слова «железный занавес», «холодная война»... Но ведь названия часто приходят позже возникновения явлений и нередко — после свершившихся событий. Простой крестьянин бедняк Швыдченко, поднятый революцией к высотам управления, хорошо понимал значение дисциплины в бою. А опыт партизана подсказывал: противники берутся за пояски. И будучи в личной жизни человеком очень самолюбивым, как бывают самолюбивы многие самоучки, он в вопросах партийного долга самолюбие свое всегда ставил на самый последний план, а свое «я» держал, как он любил говорить, в «занузданном положении».

В воздухе опять запахло гарью, и не было, казалось, ни особой необходимости, ни времени для чуткого и любовного отношения людей друг к другу. (228)

Классовый подход к истории

«Смотри, — говорил он себе, — с ноги не сбейся. Ведь не все факты из чужих биографий, пусть и замечательных, можно принять как устав или боевое наставление».

Есть люди, которые развиваются стихийно, то есть не думают об этом. Учатся ремеслу, незаметно накапливают опыт. Есть люди, которые с ранней поры сознательно формируют свой характер. Добролюбов, Лермонтов, Ломоносов... Они и в шестнадцать лет поражали своей цельностью. Это таланты или гении. Большинство же средних людей, если жизнь не баловала их с самого начала, идут по первому пути. Умеют, например, в тринадцать лет зарабатывать себе на хлеб или, наоборот, украсть, если заставляет нужда. Их поведение, в общем, стихийно. Но когда обстоятельства позволяют, они уже в более позднем возрасте начинают сознательно формировать свою личность — не характер, нет, а именно личность. **Характер — это знание плюс воля.** А формирование личности, рождение ее много-сторонних богатств и красок — дело более, сложное. Многим парням одного поколения с Зуевым нужен был для этого второй «заход». Зуев не просто занимался самообразованием. Если раньше он считал себя только подходящим слитком, который заготовила война и начерно обкатали в огне, то теперь он сам поставил себя в положение слитка, который надо превратить на станке в готовое изделие. Он и слиток, он же и мастер, и он же, сам Зуев, наладчик этого станка.

Размышляя так, **Зуев стал вырабатывать привычку примерять полученные знания к самому себе, к окружающей его жизни.** Он понимал, что формирующие его личность теоретические знания забудутся... И грош им цена, если не помножить их на факты и события окружающей его жизни народа. Перечитывая древние летописи, Зуев всегда помнил, что он сын рабочего, потомственный пролетарий. Изучая Куликовскую битву или эпопею Бородина, он яснее представлял себе только что отгремевшие на бескрайних просторах бои: от Сталинградского сражения до Корсунь-Шевченкова, от Севастополя до Ленинграда. **История стран и народов была для него прежде всего одним из средств глубокого и всестороннего осознания истории революции, борьбы большевиков. И он часто ловил себя на странном ощущении, как будто все это было с ним самим:** опасности подполья, тюремные муки, политические ссылки дедов и отцов. История жестоких, не на жизнь, а на смерть, боев на полях гражданской войны помогла ему по-иному осмыслить сражения с фашизмом; поэтому имена многих героев, совершивших бесчисленные и беспримерные подвиги в годы тяжелой гражданской войны, оставляли свой почти физически ощутимый след не только в его памяти, но и в сердце. В

душе его свершалась великая работа — глухая и безмолвная, но непрерывная и деятельная. Он^{Стр.16} много и хорошо читал... а еще больше думал. На одном дыхании прочитывал он и научные труды, и стихи поэтов, и летописи давно прошедших времен. И поэтому все ярче и ярче, все выпуклее и четче представляла перед внутренним взором история его времени. Послевоенный год возникал перед ним в неизмеримо многообразных формах проявлений, в глубоком и ясном содержании великих идей коммунизма.

Внимательно следя за текущими событиями, вчитываясь в страницы газет, вслушиваясь по ночам в треск регенераций многих радиопередатчиков земного шара, Зуев всегда пытался дать свою оценку происходящим в мире событиям. Свою собственную — не боясь, что иногда она расходилась с трезвым газетным колоколом. Высоко ценя «воспитательный потенциал», он не переносил треску шелухи слов, а иногда и явного передергивания фактов. Следя за молодежью комсомольского возраста, приглядываясь к играм Сашкиных сверстников, заходя в школу, где он провел несколько зимних вечеров, посвященных памяти Ивана Яковлевича Подгоруйко, он замечал, как мешают действительности пропаганды установившиеся шаблоны. В нем зрела уверенность в том, что не одним треском фейерверков и громом салютов надо воспитывать советских людей. Нисколько не отрицая истинного значения торжеств, Зуев понимал, что прежде всего широкое осознание пройденного пути и зоркая человеческая память о пережитых страданиях и жертвах, разумное осмысление неудач и всестороннее освоение кровавого опыта победы, беззаветное служение сегодняшнему дню и вдохновенное, бесстрашное стремление к будущему — таков должен быть фундамент воспитания нового поколения.(232-233)

От революционера к реакционеру

И вдруг молнией мелькнула догадка. **«Революционеры, которые не двигаются с места, становятся реакционерами... И не в этом только беда. А и в том, что они сами этого не замечают. И что хуже всего... не сразу эту перемену замечают и окружающие. Ну конечно же, — косо поглядывая на грузного седока, накренившего машину на правую сторону, думал Зуев. — Что его могло привести к такому состоянию?... Боязнь движения... Застарелая привычка сначала сидеть, потом лежать... Сначала долго обдумывать, затем вообще поменьше думать... На первых порах делать все самому, затем опасаться того, что другие сделают лучше... И, наконец, всю энергию тела и зоркость души употреблять на то, чтобы не давать другим делать раньше и лучше тебя... Ведь они, эти другие, делают то, что «не положено». А раз «неположенное» делается, значит, надо пресекать. Самое страшное тут в том, что человек сам не в состоянии заметить в себе такой перемены».**(234)

«Классовый враг» по-сазонову

Правда, едва-едва не вмешался, когда совершенно забывшийся Сазонов, охрипший и красный, стуча кулаком по столешнице, крикнул Манжосу:

— ...Классовую линию ломаешь, председатель! Ну, смотри мне, как бы тебе не пришлось припомнить сегодняшний день.

«О чем он говорит? Что плетет? Неужели вся та огромная работа, которую проводила и проводит партия в народе, то организующее и просветительное влияние социализма, которым дышит наша эпоха, уложилось в этих мозгах только в одном-единственном понятии: **всякого несогласного с тобой, всякого неугодного тебе, всякого не повинившегося перед тобой записывать в классовые враги? Всеобъемлющее учение, вскрывшее главный антагонизм эпохи, вместились в голове этого человека только как жупел.** И дай ему волю, он всех неугодных лично ему запишет в классовые враги. Да понимает ли он или способен хоть когда-нибудь понять, что, кроме борьбы классовой, есть еще на свете известные противоречия и в самом классе: между умными и глупыми людьми; что есть молодые и старые люди; есть щедрые и алчные. мужчины и женщины, трудолюбивые и ленивые, добрые и злые, добросовестные и мошенники, честные и бесчестные... Способен ли хотя бы это, самое простое, понять товарищ Сазонов?...»(236-237)

Откровение Сазонова

— А разве дисциплина только в том, что старший может по-хамски обращаться с подчиненными? — еще крепче сжимая баранку, чтобы не выказать дрожи в руках, спросил Зуев. Он подчеркнуто следил за дорогой, демонстративно наклоняясь к рулю. Но даже и так он заметил, как круто повернул к нему голову Сидор Феофанович. Он долго смотрел на Зуева, словно выискивая у него в ухе что-то очень нужное, а потом произнес угрожающе:

— Та-а-ак. Ну что же, видимо, и вам не по нраву партийная и советская дисциплина?

— Я не сказал этого, товарищ Сазонов. Я только сказал, что мне не нравится грубое отношение Стр.17
к председателю колхоза Манжосу. А председатель он хороший, честный труженик и никакой не классовый враг.

— Да, да... Я же совсем забыл, что тебя Швыдченко своим уполномоченным к нему приставил. Для ширмы.

— Во-первых, не своим, а уполномоченным райкома. А во-вторых, какая ширма? Чего болтать попустому. Ответственные работники, люди взрослые, а языком треплете, как мальчишки.

— ...Ну, вот что, товарищ врио военком, — резко оборвал его предрика. — Хватит. Мы тут одни... А как я к тебе по-старому благоволю, ты слушай и на ус мотай. Ты что думаешь, что он хозяин тут в районе? **Я был и буду хозяином. Фактически, понял?** А все эти разговорчики — вот они. Тьфу. И тебе советую не рыпаться... Не такое уж твое положение. Материальчик на тебя уже собран порядочный. Ты что думаешь, я не знаю, почему тебя не утвердили? Бдительность потеряна, дорогой товарищ, характеристики неважные — это раз. Сам знаешь за собой. Так уж берегся бы. А ты тут с немецкой овчаркой связался — это два. С бывшим военнопленным, этим дебоширом, дружбу ведешь? Ведешь! Это три.

Зуев вначале опешил. Такими неожиданными и чудовищными показались ему эти детальные, прилежные обвинения. Он повернул голову направо и увидел почти перед самым своим лицом руку — волосатую руку Сазонова, на которой тот уже загнул три пальца. Он не нашел нужным даже отвечать, а только посмотрел удивленно в глаза собеседнику и чуть растерянно улыбнулся. Но тот не ответил на его улыбку. Жесткий, пронзительный взгляд его был устремлен прямо в переносицу Зуева. «Ах, так?» — зло подумал Зуев и, согнав с губ улыбку, так же твердо, не моргая, посмотрел в глаза — теперь он уже не сомневался в этом — своему недругу. Но Сазонов выдержал твердый взгляд Зуева и, не спуская своих цепких глаз, ехидно спросил:

— А с профессорской дочкой что у тебя? А? — И Феофаныч загнул четвертый палец.

Помолчали.

Затем Зуев почувствовал на своем колене ту же самую волосатую руку. Предрика твердо похлопал несколько раз по его колену и сказал примирительно:

— Так-то, брат. Давай условимся — не шуметь. Ты парень неплохой. Но еще зеленый. И одно тебе советую — мне поперек дороги не становись.

— А какая же ваша дорога? — неожиданно для самого себя спросил Зуев.

Сазонов даже хмыкнул от удовольствия:

— Чудак. Какая дорога? А то ты не знаешь? **Моя дорога такая же, как и у всех: служба**, товарищ Зуев. И больше ничего. Только служба, и без фокусов. Кому служу, может быть, еще спросишь? **Служу советской власти. Вообще. А конкретнее — служу облисполкому и его отделам.** И на словах ты меня не лови — не поймает.

Зуев помолчал, пораженный. Все, что он только что услышал и понял, казалось ему невероятным по своему цинизму.

«Так вот как он понимает все происходящее вокруг?... — И вдруг неожиданно для себя успокоился. — А собственно говоря, почему должно быть иначе? Ведь даже при разговоре Швыдченки с Евсеевой я подумал о различии их понятий, кругозоров. Я назвал это тогда «этажами жизни». А моя беседа с полковником Коржем? Ведь у полковника тоже свой, более высокий этаж. Видимо, так оно и есть. Кругом вышки, этажи...» **Но сейчас Зуеву показалось, что его втиснули в какой-то кривобокий мезонинчик на задворках общественного бытия. Кто же они, эти Сазоновы? Как живут они в своих мезонинах? И откуда, по какому праву, прилепилось такое?** (238-239)

Приписки

«...Поддержка-то какая! Вот это руководство! Вот это жизнь! А гость оглянулся по сторонам да и говорит мне так задумчиво: «Вот что, товарищ Манжос... — Палец, как карандаш, кверху поднял. Да ты не усмехайся. И заметь, говорит совсем другим голосом, очень даже не любезным, а малость даже охрипшим и жестковатым голосом говорит. — Съезди ты товарищ Манжос, в контору Заготзерна... Там тебя такой-то товарищ ждать будет. Его именно разыщи... — И на меня пристально смотрит так. А потом и добавляет: — Надо! — И снова палец наставительно к небу поднял. — Надо, надо район на первые места выводить и товарищам помочь... в смысле уборки. Без спешки, значит! И сам человеком станешь — в рапорте упомянем, и нам... зачтут! Понял, товарищ Манжос?» Я в ответ: «Понял-то я понял, только как же это товарищ дорогой, — называю фамилию, — зерна-то фактически у меня еще нет?!» — «Что же, все равно, приходить будут...» — «И как же без наличия?» Засмеялся тут гость

мой да и говорит: «Вот поэтому-то я с тобой лично и разговариваю. А там...» — и так рукой^{Стр.18} махнул, что обо всем, мол, самая твердая договоренность есть, и на меня смотрит пристально. А потом возьми да и брякни: мы, дескать, можем это и в приказном порядке предложить! «Обязательство подпишешь, а квитанцию на руки получишь за хлеб на целый месяц раньше...» Много тут помешала ему эта фраза насчет приказного порядка! И мне даже настроение испортила... — Манжос засмеялся. — Задал я еще один вопрос — для уточнения: сколько же придется лишнего сдать за ранний срок, да за такую, слышь ты, поблажку? А гость только рукой махнул — ничего, дескать... «Все в точности сдашь, как в накладной будет обозначено». И велел мне ехать на другой же день в эту самую Заготзерну и все дело оформить...

Зуев молча насмешливо поглядывал на рассказчика. Манжос очень оживился, похоже, от приятных воспоминаний, и продолжал не торопясь, со всевозможными подробностями:

— Приезжаю я наутро в Заготзерно. Спрашиваю указанного мне товарища. Отвечают: нет его еще. Не приходил, значит. Покрутился я в конторе, вышел к воротам. Стою покуриваю, лозунги почитываю, а в уме прикидываю свою выгоду... А потом мне как вступит в голову! — Манжос даже за лоб схватился и крепко потер его. — Вот и вступило мне в голову: **а кого мы таким-то манером обманем?** Ну, кого? — он резко повернулся к Зуеву. — А... не понимаешь ты ничего. Молодо-зелено. Да и я в то время еще не шибко грамотный был... не умел, как надо, устав сельхозартели использовать. Не думай плохого — не шкурнически использовать, а так, что-бы хоть трошки уметь им себя лично защитить, понимаешь? Собрать собрание, провести решение, в протокол записать и тогда действовать согласно этому решению! Ну, а в тот день стою у ворот, подсчитываю бычков да коняшек, что хлеб везут... Спешат на сдачу хлеба государству. И что-то грустно мне стало... До того грустно... Хоть и насчитал я не ахти сколько, а все же, думаю, другие-то везут! А я стою как статуя! В это время окликает меня один «симпатичный» товарищ, не говоря худого слова, вежливо, по фамилии называет и к себе в кабинет просит. Привел в чуланчик какой-то...

Зуев слушал со вниманием, смешанным с удивлением и недоверием.

Манжос рассмеялся и махнул на Зуева рукой:

— Я ведь тоже душой коммунист, хотя тогда лишь заявление в кандидаты подал, но с немцами честно воевал. А ты подумал?... Это только вначале вроде пелена на меня какая опустилась, как блаженной сделался... Рассчитывал да подсчитывал все выгоды для себя, то есть для колхоза и для колхозников. Прикидывал, планы разные строил... А вот в этом-то самом чуланчике, хоть и стол там письменный стоял и бумаги форменные на том столе разложены были, враз отрезвел, весь, от макушки до пяток. А сам думаю: «А ну, куды они меня, честного вояку, кавалера солдатских орденов Славы всех степеней, теперь загнут...» Любопытствую очень сам про себя и жду разговору. Вот товарищ этот симпатичный за стол молча садится, борзой рукой квитанции мне строчит, ловко от корешков отрывает, да и мне к краю стола протягивает. А сам с нетерпением на меня смотрит! Не задерживай, дескать... А я вот, вроде тебя, такими голубыми глазами на него в упор смотрю, квитанциями интересуюсь... А товарищ мне говорит: давай, мол, обязательство... что и как... чтобы не подвели нас... Я пиджак расстегнул, квитанции со стола сгреб и в карман норовлю их подальше убрать... А этот как вскочит из-за стола да меня за руки! «Личную расписку, — кричит, — сперва мне в руки отдай, а потом уже эти забирай!» Я ему в ответ: знать не знаю, дескать, ни об каких личных расписках, уговору такого не было, у меня и урожай в этом году не ахти какой и прочее, сам понимаешь, ерунду какую-то порю. Испугался этот до того, что трясти его начало. Про детей и жену вспомнил к чему-то да и господу не забыл. Плюнул я тут да и выскочил из этого закоутка невесть как...

О том, что этот фортель с квитанциями был придуман Сазоновым, Зуев понял сразу. Тем более что других два колхоза в районе «сдали» зерно чуть ли не раньше всех в области, и звону о них в областной газете было немало...(243-244)

...

Значит, Манжоса ел поездом Сидор Феофанович все же неспроста.

Обо всем этом Зуев вспомнил вдруг очень ясно, и, обозленный поведением Сазонова, видимо устроившего за ним формальную слежку, выпалил:

— Чем за профессорскими дочками следить и вообще за женские юбочки хвататься, мой вам совет, товарищ предрика: почаще в квитанционные книжки Заготзерна поглядывать да фактический урожай проверять.

— Чего? Ты что-о? Советской власти не доверяешь?! — заорал Сазонов.

Зуев затормозил машину.

— Вот чего, Сидор Феофанович. Скажите спасибо, что я об этом поздно узнал.

— Манжос продал? — как-то просительно спросил предрика.

— Никто никого не продавал. А Манжосу следовало бы жуликов этих поприжать. Да и вам на хвост каблуком наступить... тоже. Тогда бы и орден боевой не кружил вам голову понапрасну.

Какое-то клочкотанье вырвалось у Сазонова из горла, словно он захлебнулся и теперь долго булькал горлом.

Дальше они ехали не разговаривая. Так и расстались. Зуев не произнес больше ни слова: ни угроз, ни предостережений. Он просто был ошарашен тем, что в рыхлом Сазонове вдруг обнаружил столько целеустремленной злобы и хитрой увертки. Как они уживались в этом на вид туповатом и тяжеловесном человеке?

Надолго сохранилось у него такое ощущение, будто он на полном бегу по ровной степи внезапно остановился перед глубокой расщелиной. Сазонов же решил, что неглупый Зуев испугался его предупреждения и подбирает факты для защиты собственной шкуры. **А Зуев думал: народ хоть и в нужде, но труда не боится. Он гордится родиной и все сделает для нее. А эти хотят его обмануть! Не выйдет у них это...**(244)

О наградах

...Обыкновенные районные недостатки казались не шибко внимательным людям пустяками. Но более дальновидные, очевидно, замечали, что район лихорадит.

«Кроме обычных, естественных трудностей, есть в Подвышкове трудности и привнесенные в жизнь района руководящими товарищами», — заключил как-то приезжавший из обкома товарищ.

— Ясно, что Феофаныч даст бой за первенство в районе. Он желает быть признанным хозяином, — сказал однажды Зуеву наедине начмил Пимонин.

Зуев ответил, что предрика и раньше был таким же карьеристом, но скрытым, затаившимся.

— А сейчас что с ним случилось? — спросил Пимонин. «Конечно, в Сазонове, отодвинутом войной куда-то на задний план и случайно всплывшем опять, выиграло честолюбие», — подумал Зуев.

— Неужели ему вскружил голову орден?... — продолжал начмил. — Наверно, так... А похвалы областного руководства тоже подлили масла в огонь.

— Ладно, что всего лишь одну такую цацу занесло в наш несчастный район, — сказал Зуев, а сам подумал: «А одну ли? А что собой представляет товарищ Шумейко?» Причины странной ретивости этого человечка пока еще не были ясны Зуеву. Но применительно к людям типа Сазонова он уже сделал кое-какие обобщения. И даже появились памятные зарубки в записной книжке: **«Награды и поощрения, возведенные в механическую систему, развивают карьеризм и вырабатывают своеобразных моральных рантье. В этом состоит единство противоположностей работы с кадрами в послевоенное время...»**(245)

Картина перерождения Сазонова

Все глубже и глубже вгрызаясь буром своего неумного анализа в психологию Сазонова, Зуев, обобщая, однажды подумал:

«Неизбежно он встретит себе подобных... Наверняка! И они станут учиться друг у друга способам и приемам... Уловкам и выкрутасам. Они — как вода. Встречая скалу на своем пути, она обтекает ее, мягко и ласково журчит, нежно подтачивает ее основание, вымывает из-под нее грунт по песчинке, по камешку. И скала начинает крениться. Заваливается набок. При падении может расколоться пополам. Эти обломки тоже будут охватываться со всех сторон ласковой струей лени и перестраховки. Камни начнут дробиться. Пройдут годы, и от скалы могут остаться лишь отшлифованные плоские голыши, зеленые от водорослей и неподвижной старости. Скроются под струями течения, которое засыплет и будет двигаться тихо, плавно, лениво. Только в ясный день, когда лучи солнца пробьют толщу водорослей, можно еще будет, бросив весла, перегнувшись с кормы лодки, **увидеть то, что осталось от могучей, когда-то непреклонной скалы...**»

Так, увлекаясь, Зуев рисовал себе картину перерождения Сазонова. Но верна ли она? Хотелось еще и еще проверять свои столь серьезные подозрения.(252-253)

Письмо Гуго Боймлера

Только через две недели поисков письмо немца было в дрожащей руке Зуева. В письме говорилось:

«Я, Гуго Боймлер из Гамбурга, ставший по заданию Эрнста Тельмана ефрейтором СС, понимаю, что в моих руках тайна, которую будут долго искать наши русские товарищи. Знаю так же, что я не доживу до конца этой войны. Поэтому единственный выход для моей совести солдата — написать обо всем. Я думаю, мне удастся оставить это письмо в могиле. О нем не знает ни один человек на свете. Вернее,

Стр.20
знает этот русский которого расстреляют. Я вызвался исполнить это и оберст Шмидке дал коман-
ду. Не думаю, что мне удастся, но все же попытаюсь устроить ему побег. Но если не удастся, то я хотя
бы помогу ему принять легкую смерть. Пусть никто не клянет меня за это. Этот человек еще раньше
приговорил себя к ней... но для него не хватило патрона...»

В письме не все совпадало с рассказом капитана Иванова. Но главное — оба говорили почти оди-
наковыми словами. Да, последний патрон в личном оружии генерала, которое ему обещал сохранить
сам Гитлер, был один на двоих. Факты, освещенные разными людьми, были налицо. Они как бы выст-
раивались шеренгой неотступно шагающих за своим командармом солдат, тяжелое предсмертное
дыхание неизвестных героев слышалось историку в тиши архива. И он начал мысленно восстанавли-
вать картину.

Гитлер, конечно, пришел в бешенство. Взять скифа живьем! Во что бы то ни стало! Эта немаловаж-
ная задача и была возложена лично фюрером на блестящего и безжалостного молодого оберста —
нового человека новой немецкой военной школы, которой и предстояло покорить весь мир. Фюрер
потребовал во что бы то ни стало взять Сиборова живьем. «Это вполне можно понять с точки зрения
военной психологии...» — подумал Зуев. Влюбленный в свою «божественную интуицию», Гитлер,
очевидно, был уверен, что как только этого варвара доставят к нему, он лаской, угрозой, хитростью,
пыткой, наконец, выманит, вырвет у него психологический секрет таинственной восточной стратегии.
Он по его глазам прочтет, какую гениальную идею надо будет вложить в свои приказы этим олухам
Браухичу, Гудериану. Надо только его поймать... пронзить взглядом — и все станет ясно.

Да, наверняка это было так! Не в деталях, но в основном. Но на стороне Зуева было превосходство
исследователя, судьи. Главное — не увлекаться. Быть беспристрастным, объективным. (276)

Как помочь людям?

Конечно, многое, очень многое происходило от нужды, нищеты, послевоенной разрухи... Но совет-
ские люди, выползавшие из войны, пережили и не такое. И все же сейчас было уже не в состоянии терпеть
те лишения, а иногда и несправедливости, на которые поплеывали в военное время. Тем более что не все
несправедливости можно было списать теперь за счет войны. **Хуже всего переносилось материаль-
ное неравенство.** Сверлило душу фронтовиков именно это. **Если бы можно было помочь сейчас
храбрым советским людям, помочь измученным женщинам, накормить и приодеть ребятшек
или завести моторы хороших тракторов! Не было б ли от этого легче всем и детям, и женщинам,
и руководству, и стране?** — думал не раз Зуев, не представляя себе конкретно, как это можно сде-
лать. (289)

Контрасты послевоенной жизни

Контрасты послевоенной жизни не давали Зуеву покоя, противоречия не раз сбивали его с толку.
Для восприимчивого, впечатлительного, склонного к раздумьям человека, каким был Зуев, того, что
пережил он на войне, да и всего, что случилось с ним после войны, — в общем, всяких жизненных
неурядиц, сложностей, препятствий, — с лихвой хватило бы, чтобы очерстветь, погрязнуть в тине лич-
ных неурядиц или, махнув рукой на всех и вся, стать казенным службистом; ему грозило и другое:
он мог бы поддаться сладкому дурману карьеризма, воспользоваться знакомствами, эксплуатировать
свою одаренность, знания, диплом, поставить перед собой одну цель — обладать чином, должностью,
квартирой, авантажной женой, все, все в жизни мерять внешним успехом, положением, честолюбиво
холить себя и свою удачливую судьбу; он мог бы пристраститься и к иной, куда более доступной, хоть
и не такой сладкой отраве — поглядывать все чаще и чаще на дно рюмочки, — ведь и в ней многие, не
такие уж и плохие люди находили «истину» или просто топили свою волю, личность и свою судьбу.

Но Зуев принадлежал к тому племени советской молодежи, душа которой была широко открыта
общественным влияниям. Он принадлежал к людям **не только действующим, но и думающим**, то
есть живущим напряженной душевной жизнью, которою всегда живут люди чистые, самоотвержен-
ные, готовые беззаветно служить родине и в дни ратного и в годы нелегкого мирного труда. Быть
может, тем, кто действует мало задумываясь, и легче, но Зуеву и таким, как он (а таких, конечно, было
много и в военные и в послевоенные годы), трудно было не сломаться от бесчисленных ударов нелег-
кой судьбы, падавших на плечи этого поколения. Судьба эта подкралась и к Зуеву, неласковая ее рука
замахнулась в самую трудную для него минуту, когда он был незащищен, и стала наносить удары пре-
дательски, в спину, — совсем не с той стороны, откуда он мог ожидать врага. Но он устоял. **Такие ли,
другие ли и вызванные иными причинами, но у многих советских людей были в те годы подоб-
ные душевные кризисы.** И для тех, кто в сутолоке жизни не разглядел или не смог одолеть их, сдал-
ся, пренебрег правом и обязанностью отчитаться перед собственной совестью, рано или поздно на-

ступало или наступит время горького раскаяния.

А жизнь брала свое и, несмотря ни на что, все чаще и чаще, вырываясь из каких-то подспудных тайников, как бы самовозрождаясь, все более властно стали пробиваться наружу лучи света. Мир открывался Зуеву как нечто целое, живое, движущееся; пусть израненное, но живое. Это целое была его родина — Россия, весь мир, все человечество, просыпающееся от кошмаров и отмывающее с себя грязь войны... Все реже стали сниться ему бои... Все сильнее слышались мелодии будущей прекрасной жизни. Просыпалась надежда на личную хорошую, достойную жизнь.(303-304)

Угроза новой войны

Все чаще думал он и о том, как же человеку совладать со многими предрассудками. Они ведь причиняют людям больше всего страданий. Хотелось совладать и с самими страданиями и с самой смертью. А чаще всего хотелось крикнуть людям: «Хватит делать зло! Даже если оно совершается во имя великого добра. Давайте просто будем добрыми». И всей душой воскликнув так, он сразу же тормозил, взнуздывал себя насмешкой. Понимал, что в мире, где клокочет послевоенная нужда, конкуренция и злоба, это сейчас просто невозможно. Мы бы очень быстро справились со своими бедами, это по силам нашему могучему народу. Но из-за Эльбы и Рейна, из-за океана на победителей несло таким смрадом клеветы и несправедливых измышлений, там шла такая жестокая игра, что о «добротe» еще и заикаться нечего было! Руку откусят. А там и к горлу потянутся...

Громыхали чудовищными погромами за круглыми столами и дипломаты Запада, люди не то что неблагодарные, а просто бесчестные.

Зуев понимал, что в послевоенном мире, кроме отгремевшего зла, которого, быть может, хватило бы на несколько поколений человечества, бродят еще призраки, тени новой войны. И он чувствовал, что они становятся все более явственными.

«Может быть, надо побольше голых истин? — спрашивал себя Зуев. — Ведь многие заученные и общеизвестные истины уже не истины потому, что они, как дикие шаманы, обросли мишурой оговорок и обременены звенящей колдовской одеждой благопристойного фарисейства. **Истина — это, прежде всего, правда. А правда — она не имеет стыда. И вежливости тоже. Она просто правда...**»(306-307)

«Ясные указания» товарища Сковородникова

— Так при чем здесь та история? — недоумевал Сазонов. — Дело-то ведь сорвалось из-за этого дворянского предколхоза.

Сковородников засмеялся:

— А-а, этот случай с блудницей Екатериной! Вообще здорово придумано. Я этот анекдот не раз слышал. Очень даже смешно и мило. Но давайте говорить напрямую. Человек вы мне симпатичный, и, так и быть, проинструктирую по душам.

Сковородников какой-то изменившейся, кошачьей походкой подошел к двери и выглянул в коридор...

— Но предупреждаю, этого... обмена мнениями между нами не было ясно? Мы — область бедная, никогда страну не кормили, а теперь, после войны, да еще с этими партизанами, и подавно. Надо же понять, что живет она не с фактического урожая. И хотя нас строго предупредили с этим положением кончать в ближайшие год-два, там еще видно будет. Но мы то с вами не вся область, **мы просто руководящие товарищи. Мы всегда будем жить не с фактического урожая. Нам при любой карточной системе паек всегда выдадут. Будьте спокойны.** Но все же наши козыри — та цифра и тот процент, какие в газетах напечатаны. Понятно? Газетный процент нас кормит, то есть аттестует, как говорят наши вояки. Значит, давай этот процент. Любым способом давай. А уж тогда конкретного масла и ветчины, на крайний случай, хотя бы и «второго фронта», но сколько душа просит. Для нас лично этого всегда найдется в достатке, если только процент выполнения в газетах будет на должном уровне. **Мы с вами, Сидор Феофанович, с бумажного процента живем.** Все. Точка, А дальше уж сам думай и понимай.

Сковородников еще раз подошел к двери, резко открыл ее, посмотрел в коридор и тихо прикрыл за собой. Теперь он шагнул уже совсем другим, обычным шагом. Сазонов умилился:

«Этот крепко сидит. Значит, вот какие они — дела. Будет, будет для меня поддержка в области...» Твердая вера в бумагу, в процент, в инструкцию, даже в словесный инструктаж всегда ему импонировала. Он ведь и сам кое о чем подумывает да кое-что и предпринимал. Только у него все это вроде помутнее, не так четко, не так уверенно и лихо.

«...Видать, все же я на верной дороге стою... Эх, вот Федот мне как гири на ноги повесил. Не путай-

ся он под ногами, мы после таких ясных указаний товарища Сквородникова на первых местах в Стр.22 области давно бы были...(314) ...Но потом, как ни пытался Сидор Феофанович опять свести разговор на эти рельсы, руководящий товарищ Сквородников молча смотрел на него какими-то оловянными глазами, а когда предрика по простоте душевной сказал в присутствии его шофера что-то насчет «указания», тот резко оборвал Сазонова:

— Указаний я вам никаких не давал, и вообще... Понимать надо.

Ни об этом разговоре, ни о внутренней неурядице и колебаниях, которые «обсели как осенние мухи» трусливую по своей природе душу Сазонова, Зуев, конечно, знать не мог. Но пронырливый и всезнающий Илья Плытников сболтнул как-то:

— О-го-го, теперь наш Сидор в гору пойдет! Оч-ч-чень ловкие штуки с квитанциями придумал. Жмет на второй орден, не иначе.

— Какими еще квитанциями? — спросил Зуев, почему-то думая, что разговор идет об орденских талончиках, которых у него самого лежало в красной коробочке сотни на полторы в месяц.

— Да из Заготзерна... — беззаботно ответил Ильяшка, но тут же спохватился и прикусил язычок.(315)

История - наука о будущем

Не только из-за осторожности пришлось пойти на такую меру. По требованию представителя обкома товарища Сквородникова предварительно обсудили этот доклад на бюро. А раз так, то доклад должен быть написан. А раз его написали да еще прокорректировали, так уж надо читать.

По ходу конференции у самого докладчика, конечно, возникали новые мысли, вызванные и встречами в кулуарах с делегатами, и больше всего с их внимательными, испытующими глазами. Швыдченко еще в начале доклада, поглядывая поверх листов бумаги в зал, видел эти глаза коммунистов. Он чувствовал, что люди ждут от него живого слова.

Он знал: всем, чем жил народ в те дни, жили, трудясь вместе с ним, и эти лучшие люди района. Им было очень нелегко. **Но стоило докладчику измерить всю эту трудную послевоенную жизнь масштабами истории, как сразу ему и его товарищам становилось щемяще ясно не только горестно-сладкое, уже отгремевшее прошлое, но прояснялось и будущее.** Не всем, конечно, одинаково: одним мерещилось оно довольно туманно, как общая перспектива, до которой, может быть, сам и не доживешь; другим — как лозунг, хотя и правильный и даже красивый, но все же пока абстрактный, слишком общий, чтобы сжиться с ним как с делом ежечасным, привычным; для третьих это была сама жизнь с повседневными заботами, словно езда по тряскому, в ухабах, пути; а для людей романтического склада или склонных, как Зуев, к размышлениям, это был плод усиленного, а подчас изнурительного умственного труда. Именно у Зуева во время этого в общем скучноватого доклада впервые мелькнула мысль: **а ведь история-то — это наука о будущем.** И к этой мысли он, готовящийся стать историком-профессионалом, возвращался потом не раз в жизни.(316-317)

«Обыкновенный» карьеризм

...У Федота Даниловича теперь авторитет здорово возрастет. Как у моряка, выдержавшего штормягу в девять баллов. Такому даже стражник стакан водки преподносил. А вот Сазонов на глазах у всех в карьериста превратился. Ишь куда залетел. Да слава аллаху и товарищу Зуеву. Сорвался.

— Как все это могло случиться? — спросил Зуев. Раньше карьеризм Феофаныча казался ему жалкой эмпирикой, житейской несуразностью, о которой они могли болтать безответственно с Ильей. **Но после реплик старого, опытного партийца, чекиста это явление представилось опасным для дела партии.** Видимо, он, Пимонин, многое понимает. Недаром все помалкивает.

И Зуев горячо, пытаясь в словах, рассказал Пимонину о своих раздумьях.

— Ну, не так уж это опасно, как тебе кажется. А в общем — верно. Но зачем страшные слова? **Обыкновенный карьеризм. И того меньше—так сказать, честный еще карьерист.**

— Честный? — удивился Зуев. — Есть и такая разновидность?!

— Конечно, честный в кавычках. Никакого пока криминала. Хочется человеку спокойной жизни. Думает: чем выше — тем пожирнее куски перепадут.

— Но ведь против мнения партийной организации.

— Партийная организация только вот сейчас сказала свое слово. И с сего момента начинается для нашего Сазонова кризис. Либо он одумается, станет уважать мнение организации и останется коммунистом, так сказать, с некоторыми личными недостатками, либо его песенка спета. Так всегда бывало с теми, кто не внимал предупреждениям партии.

— Да, вам легко все это понимать. У вас опыт партийный... Вы еще с левыми и правыми проводили

борьбу! — завидуя, как Сашка его военным заслугам, партийному опыту Пимонина, сказал Зуев. Стр.23

— И раньше. Начиная с троцкизма. Ни разу не вихлял. Держался генеральной, — твердо сказал Пимонин. Зуев с ребяческим любопытством спросил:

— Так вы и Троцкого слышали? Говорят, сильный оратор был...

Пимонин нахмурился. Зрачки стали острыми, как два кинжала на чекистском значке, прикрепленном к его кителю.

— Я, малец, Ленина слышал десятки раз. Нас, рабочих-чекистов, Феликс посылал на собрания. И последнюю речь Дзержинского, после которой он упал на лету, как пулей сраженный, вот и сейчас слышу. **А Троцкий что? Павлин с хвостом. И все. Это мы еще тогда понимали.** Кто головой, кто — рабочим сердцем. Партия, ленинские идеи нас просвещали.

— И мы понимаем, — почувствовав себя теперь не школяром, а говоря уже от имени своего поколения, горячо сказал Зуев.

— А ты из-за Сазонова разволновался. Нет, хлопец, партия не таких индюков видела. **А самое главное — тогда были классовые условия.** Почва для ядовитых корешков... **А теперь** карьерист по слабости духа может, конечно, перерасти в карьериста хронического. Может даже пойти в гору. **Но он не крепко сидит и рано или поздно сорвется.**

Зуев вспомнил свою первую поездку по району со Швыдченкой и размышления по поводу того, кто же первый и кто командир и кто комиссар. И он, сбиваясь от волнения, выложил все начистоту старшему товарищу по партии.

Пимонин слушал вначале серьезно, потом ухмыльнулся, а затем совсем помрачнел. Зуев, заметив это, умолк.

— Конечно, ты уже давно не юноша зеленый, не школьник. Ты прошел войну и приобрел опыт. Но опыт однобокий. Видел жизнь, но только одну ее сторону. Так, правда?

— Ну допустим. Но я еще многому научусь.

— Слыхал, слыхал о твоих занятиях. Но есть и в этом опасность — заучиться.

— Ну, это вы просто каламбур, к слову, так сказать.

— Нет, не к слову, — неожиданно жестко сказал Пимонин. — Вот и после гражданской такие тоже были, вроде тебя. И многие клюнули на механическое перенесение военных порядков на профсоюзы... Знаешь, наверно, кто это проделал...

— Это дискуссия о профсоюзах?

— Вот, вот. А Ленин как сказал? Ну, ты ученый, ты найдешь точно и том и страницу. Но я через тридцать с лишком лет тебе как наизусть скажу. **У вояк, профессионалов вояк, две стороны медали: положительная — героизм, дисциплина, порядок, — этому стоит у них учиться, но есть и другая — чванство, карьеризм, формализм. Так Ленин нас учил, что не все военное нужно переносить на гражданскую жизнь.**

— Так что, вы считаете, что я на позиции троцкизма скатился? — совсем как Сашка после памятного посещения бани, с новым ужасом спросил Зуев.

— Нет, не считаю. Да и оставь ты про этого петуха. Тут есть и такая тонкость. **Вообще-то после войны сохранилось у нас не очень правильное соотношение. Парторганы чересчур стали командовать советскими органами, но уже поправляется дело. Сегодняшняя конференция тоже пример.** Сам видишь, на Устав ссылался. А еще год назад отвод Швыдченке могли бы воспринять как толковую, деловую команду. Обстановка так заставляла. Понятно?

Зуев жадно слушал Пимонина, и Сазонов где-то там, на задворках района, мельчая, все уменьшался в его глазах. Перед Петяшкой стоял живой современник исторических событий, борьбы партии с троцкистами, с левыми и правыми. Слова, которые говорил Пимонин, были ему известны, но понятия и сама борьба раньше как бы застывали в знакомых формулировках. А тут перед ним была живая история, свидетель того времени...(328-331)

Беседа Зуева с Швыдченко

(Зуев:) Руководители! Совсем заруководились, все от своих спасаетесь... — и он зло и длинно выругался, чего с ним никогда раньше не случалось. — **Неужели нужна еще одна война, чтобы понять, кто свой, а кто чужой? И откуда все это пошло?!** Я понимаю, что принципиально не вы одни во всем виноваты. Но так больше жить нельзя. Полтора года прошло после победы, а колхозники, вы понимаете, колхозники не видят досыта хлеба... Твое слабое звено, секретарь, которым ты мне мозги выкручивал, не в бычках сидело и не в тягле, а поглубже. И брось прикидываться. Сам все понимаешь, а как страус в песке прячешься за бычками да землянками.(335)

(Швыдченко:) ...А вот мне к кому со своими сомнениями пойти? В обком к Матвееву-Седых?Стр.24 — И задумался. — Нет, в обком не пойду... К Сталину пошел бы... только как дойти?» — Ладно, ты приглядишься получше, чем такое буровить... — уже спокойно продолжал он. — А власть — это, между прочим, не только кресло да гербовая печать. Это тебе не просто лозунг, а смысл нашего с тобой существования! **Власть — это союз рабочих и крестьян. Иначе мы не работники партии, а просто нахлебники на шее народа.** Вот. Но парень ты настоящий. А что ругаю — так мне, может, самому так легче. И мне не нужно, чтоб человек тут, перед секретарем, преданную морду показывал, а сам на базаре или дома выкладывал свои тяжелые думки. Нет, ты так не подумай...

А Зуев вспомнил почему-то, что на его глазах предколхоза Манжос, доведенный как-то Сазоновым до белого каления, вынул из кармана завернутую в тряпочку колхозную печать и процедил сквозь зубы: «На, возьми колотушку, только душу отпусти»...(336)

....

...Кроме шуток. Ну, понял?

— Постараюсь, Фэdot Данылович, — по-украински, нажимая на «ы», сказал Зуев.

— Ну, спасибо, — резко обрывая разговор, Швыдченко хлопнул майора по плечу, повернул его к двери и уже в спину крикнул: — **Побольше работай, поменьше сомневайся, товарищ. Делай людям, добро.**

Уже взявшись за ручку двери, Зуев внезапно остановился и, повернувшись снова, с изумлением посмотрел на секретаря. Он вдруг подумал, что после школьных лет, после активной работы в комсомоле никто еще не говорил ему этих трех простых слов. Они прозвучали в устах партизанского комиссара как выстрел. Зуев так ничего и не сказал, только долго смотрел на Швыдченку, который перебирал на полочке тома с закладками из обойной бумаги.

Разговор этот произвел, на него огромное впечатление, еще большее, чем беседа с Пимониным. **Семена, посеянные честными, искренними словами двух настоящих коммунистов — старого чекиста и хитроватого, но умного партизана, нашли в его душе благодатную, хорошо подготовленную почву.** С самого детства была она вспахана мудрым дедушкой Зуем, активисткой — женотдельской заводилой, его горячо любимой маманькой; и друзья — пионеры, а потом и комсомольцы — все вместе развили они в его пытливой натуре повышенную общественную отзывчивость.

Позже, став зрелым человеком, Зуев не раз вспоминал добрым словом закаленных партийцев Швыдченку и Пимонина. Они вовремя встретились ему на распутье. **Ведь факты послевоенной жизни, как ему казалось, не во всем сходились с его теоретическими знаниями, в которых он вырывался вперед и которые просто шлифовали его разум.** А эти люди дали ему самый мощный инструмент познания — партийность. Не словесную, голую теорию, а чувства и мысли, воплощенные в деяния и призывающие к деянию.

Зуев не пошел домой, он еще долго бродил по темным, улицам, то убыстряя, то замедляя шаг.

«Делаю ли я добро? — спрашивал себя Зуев. — Вроде делаю. Какое? Во имя чего? Может, это добро до сих пор творилось в угоду своей собственной... чувствительности, что ли, или честолюбию? Добро эгоистическое и маленькое, которое хуже самого откровенного зла? Вот этот — Шумейко. Он не делает добра и не хвалится этим. Да и должность у него не очень добрая. И не в этом суть. **А вредная его суть в том, что он в каждом подозревает то саботажника, то антисоветчика. то бог знает кого. Служба выработала у него такой характер. И специальную психологию? Но ведь и философия обязывает. «Чем ближе к построению социализма, тем острее классовая борьба».** А где? В нашей стране? Или вообще — в мире? А если ее нет в нашем подвышковском масштабе? Значит, надо ее выдумать. Иначе со службы долой.

И откуда у таких, как Шумейко, эта повышенная подозрительность? Думают — бдительность? Нет, именно подозрительность...

Но что же он делает, этот Шумейко? Стравливает руководителей. Дядя Котя для него вроде бродила. Нет, тут мой долг — вмешаться. Надо со стариком потолковать. Только послушает ли он меня? А я на него маманьку напушу».(340-341)

Что делать с «немецкими» детьми?

— Значит, вопрос решен, — подвел итог Швыдченко. — Хотя и не совсем принципиально, но все же решен... А то вот у меня в сорок третьем году такая же петрушка была... — начал он задумчиво.

Оба слушателя заинтересовались.

— Да, в сорок третьем году, — усаживаясь за стол и поглядывая на Кобаса и Зуева, продолжал Швыдченко. — Был я по ранению на Большой земле. Уже почти вычухался. Хожу. Вдруг вызывают.

«Должен на славянском митинге выступить». Приезжаем. В президиуме и руководители партии-Стр.25 занские. И был там наш земляк с лентой червонной на папаше, не хуже невесты вырядился, — сам знаешь какой. Горлохват порядочный. Пошел разговор про таких девчат. Он и говорит:

«Мабуть, таких с немченятами в одной нашей области десять тысяч, не меньше». Неудобно мне было старшему товарищу сказать: «Ну шо ты брешешь?» А он свое: «Кончится война — надо для них специальные концлагеря готовить». Как-то неловко всем, но молчим. А тут же, напротив нас, еще один наш земляк сидел. Тоже черниговский.

И Швыдченко назвал фамилию известного писателя и кинорежиссера.

— Так у него знаете какая душа? Как тонкая паутина. Даже про войну умудрялся нежно говорить. И так говорил, шо аж сердце щемило. Глянул я на него. А у него слезы по щекам так и побежали. Я не выдержал, подсел и шепнул по-нашему: «Не журиться, земляче, не будет тех девчачьих лагерей... И про те тысячи он таки на два нолика прибрехал...» И тут звонок. Пошли на митинг.

— Так и не решили тот вопрос?

— А чего его там решать? Ну, наболтал один сильно храбрый и сильно дубовый товарищ. К тому же, как говорится, вопрос еще не злободневный, еще треба до тех девчат Курскую дугу сломать... И вот выступают академики, писатели и всякие иные... попы даже.

Швыдченко задумался, как бы вспоминая.

— А затем дают слово знаменитому снайперу. В газетах про него тогда очень даже здорово писали. Выскочил к трибуне солдатик — сухонький, маленький. Ну мальчонка, и только. А голос баском. Подбежал к ящику, ну, известно, в руках бумажка. Стал читать... Как я на той конференции. Так еще больше, чем товарищу Кобасу мой доклад на конференции, не понравилось начало того снайперского выступления. Правда, и читал он его еще хуже моего.

Швыдченко и Зуев засмеялись. Кобас сказал примирительно:

— Ладно... Чего уж там...

— Нет, я не думаю тебя шпынять, товарищ Кобас. Это к слову вспомнилось. А потом на какой-то словесной карусели не удержался тот снайпер. Бумажку скомкал, и шепотом сорвалось у него... такое слово. Не знаю, слышали в зале или нет, а до президиума дошло. Председатель встал со звоночком. Опаска взяла его. Как бы на всю Европу тот снайпер не матюкнулся. «Я вам лучше так, от своей души скажу, — запросто, человеческим голосом начал снайпер. — **Товарищи, мне злость моя на тех фашистов помогает их ненавидеть.** Они уже не первый раз у нас на Украине. Первый раз, я восемнадцатом... Они, они... мою мать изнасиловали. И от этого я и на сей свет родился... И так я их ненавижу, что уже четыреста штук на тот свет отправил и буду бить до тех пор...» Если бы вы увидели, что тут было. Какой гром аплодисментов. И люди плачут. Слезами хотят тому снайперу помочь, горе его успокоить.

Только один человек в президиуме не плакал. Это тот, с нежною, як наша Десна, душою... Глядел он горько на того горлохвата и головой покачивал. А этот хмуро сидит, голову вниз...

Швыдченко смолк.

— Стыдно ему, значит, стало за те концлагеря... И мне тоже, Петро... — сказал дядя Котя.

Швыдченко не слышал или делал вид, что не слышит. И продолжал:

— «Спасибо вам, партизан, что правду мне сказали. Нет, не будет тех лагерей». — «Конечно, не будет, — отвечаю. — **Разве дети виноваты? Они такими станут, какими мы их воспитаем.**

Кобас молча пожал руку обоим:

— Спасибо и вам, друзья. Тебе, Петяшка, спасибо.

— За что? — наигранно удивился тот.

— За то, брат, что ты добре за интернационал стоишь. Нет, добре. Одним словом, по-пролетарски. (350-352)

Встреча с власовцем

— Проверю воду в радиаторах.

Зуев и Максименков только потом вспомнили, что сказано это было другим, не Жориным голосом. А сейчас Зуев чувствовал одно — что руку его Шамрай стиснул с такой силой, что Петр Карпович даже присел от боли.

— Ты что? — повернулся он к Косте.

— Откуда? — прохрипел Шамрай.

— Из Одессы. Да пусти же, Котья...

— Врешь! — И уже знакомое Зуеву бешенство, как отсветы пожара, мелькнуло в глазах друга. Но в

это время на улице зафырчал мотор машины. И тут же Шамрай, резко отбросив его руку, бросил-Стр.26 ся, задев столы, к выходу. Когда Зуев и Максименков высочили вслед за ним, они увидели задний борт набирающего скорость грузовика, выезжавшего на улицу, и бегущего наперерез машине Шамрая. Он что-то кричал, но голос его тонул в реве мотора. Машина мчалась прямо на Котьку, и в какую-то секунду переключения скорости Зуев услышал отчаянный крик:

— Петяшка, стреляй! Стреляй, мать его... Но водитель машины, мчавшейся прямо на человека, как показалось Зуеву, умышленно прибавлял скорость, чтобы сбить с ног Шамрая. В последний миг Котька отскочил в сторону, но его задело бортом, и когда промчалась машина, на дороге осталось распластанное тело Шамрая. Зуев и Максименков подбежали к нему. Он, вставая, кричал:

— Это же он! Власовец! Стреляй, Петро, стреляй!

Это было так убедительно, что Зуев, не раздумывая о последствиях, выхватил пистолет и, положив его на локоть левой руки, стал палить в удаляющуюся машину, целясь по скатам.(366)

....

Через пять минут Пимонин уже звонил в соседние районы, спокойно и толково отдавая распоряжения о задержании машины «оппель-блиц».

— Номер машины помните? — спросил он Максименкова.

— А как же! Серия ОК 21-64.

— Фамилия?

— Майор запаса Максименков.

— Да нет, — перебил его Зуев. — Фамилия этого беглеца, одессита? Так, товарищ начмил?

— Ничего, запишем обе.

— Вроде Самсонов, — неуверенно протянул Максименков.

— Почему — вроде?

— Так вот же, говорит — власовец он, — указал Максименков на молча сидевшего Шамрая. — Наверное, и фамилия это у него липовая.

— Так же, как и липовый он одессит, — добавил Зуев.

— А вы не помните, как его звали? — обратился Пимонин к Шамраю.

Тот молча покачал отрицательно головой, а затем сказал:

— Он мне звезду на спине вырезал.

— Как? — одновременно спросили Максименков и Пимонин.

Зуев кивком головы подтвердил сказанное Шамраем.

Шамрай не произнес больше ни слова.

Пройдут годы, и Константин Шамрай не раз пожалеет, что еще в столовой не схватил своими руками-клешнями за горло, не задушил железной хваткой этого человека, **быстрой расправе с которым мешало мирное время с его формальной законностью, волокитой, отсутствием истинного доверия к своим и требованием «состава преступления» врага, когда оно не нуждалось в доказательствах.**(367)

Торгаш - готовый предатель

«Я же не Шумейко», — хотел сказать Швыдченко. — Тут сбоку подход. Не понравился мне вот чем тот одессит. Я слушал его, и как живой встал передо мною один председатель колхоза... еще до войны я с ним срезался. **Этот был из тех, что последнюю колхозную кобылку готовы на мотоцикл выменять. Сначала над ним посмеивались: то он с яблоками в Москву, то цибулю в Мурманск, то с картошкой в Ленинград. В общем, все у него на торговый лад.** Был в районе вроде анекдота на всех совещаниях... Всего от него ждали, но такого, что отмочил он перед самой войной...

Шамрай, слушавший до этого как-то безразлично, с интересом повернул голову.

— В деснянской пойме, широкой, как море, и вольной, как ветер, гнездятся по пологим овражкам дубравы. Так я такой красоты ни на Карпатах, ни на Буковине, ни в Полесье никогда не видывал. Есть там дубы-столетки и даже старше. Они довольно часто встречаются. А самый знаменитый дуб на всю деснянскую долину — у села Голенка, того, где этот, со спекулятивными замашками, как нам казалось тогда, предколхоза бузовал. Говорили в народе — до тыщи лет тому богатырю. Такие уникальные растения не даром даже государство охраняет. Так же, как и достижения культуры... и ее мастеров, между прочим. И вот добрался, сукин сын. Решил спилить. Но дуб не поддавался. Все пилы поперечные обломал. Приехал в район — достал продольную, ту, что бревна на доски распускает. И у той поломали зубья. Так и бросил.

— Не поддался богатырь? — с надеждой спросил Шамрай.

— Сразу не поддался. Но ему ведь вокруг кору обрезали. Засох.

Зуев вздохнул. Шамрай угрюмо отвернулся.

— А когда через год, уже во времена оккупации, мы проходили рейдом возле тех Голенок — **старостой был тот же председатель.** Теперь-то уж он не скрывал, что был сыном посессора, из тех, которых сахарозаводчик Терещенко себе подбирал. Люди без роду, без племени, без совести. Этот, твой знакомец, что ремни тебе на спине вырезал, он все наше советское, русское готов испоганить...

— А что с этим дубом? И его палачом...

— Дуб стоял сухой, но еще могучий, как скелет мамонта... В сорок втором году на его ветвях мы того сукина сына и повесили. Не только за предательство, но и за это преступление. Погодите, хлопцы, повесим и этого власовца. Не только заплечные дела им припомним, которые они над воинами, защитниками родины, творили, но и за издевательство над нашей революционной культурой... Да, да... все, все припомним.

— А пока — власовца и след простыл.

На третьи сутки из соседней области сообщили, что в полутора километрах от полустанка оживленной железнодорожной магистрали, через который в сутки проходят десятки товарных и почтовых поездов, нашли брошенную трофейную автомашину с одесским номером. Машина, по всему виду, простояла уже не менее суток, следовательно «Жора из Одессы» успел укатить. Вот только неизвестно куда: в Москву? Харьков? На Донбасс? На Кавказ?

А может быть, и застрял где-нибудь невдалеке, в бесчисленных мелких деревушках, хуторах и дубравах Средней России.(370-371)

О людях ценящих свое достоинство

Но все же, как уполномоченный райкома по «Орлам», Зуев, весьма добросовестно относившийся к своему партийному поручению, забегал в райком за советами, литературой, а то и просто брал на себя труд утрясти по просьбе Манжоса какой-нибудь мелкий вопрос. В эту осень уже не было оснований жаловаться на орловцев. Первоначальное мнение о них, как о коллективе — подрывателе основ, само собою рассеялось. **Так бывает иногда в жизни: создается мнение о человеке по его случайным, а иногда и просто внешним чертам, а то и сочиненное завистливой людской молвой. сплетнями, слухами...** Когда же приглядишься поближе, приходится круто менять курс: нередко ласковый, покладистый — да еще если с подхалиминкой — дядя оказывается ловчилой и несусветным лодырем, а ершистый задира — не забулдыгой, а честным тружеником, человеком, имеющим все права требовать, чтобы его уважали и с мнением его считались.

У некоторых служилых деятелей, вроде Сазонова или Сковородникова, **в те времена в ходу было предубеждение к людям, ценящим свое гражданское достоинство.** Часто это предубеждение перерастало во вражду. **А советский человек был горд самим собой. Миллионы людей увидели свою силу.** Они осознали ее, но — не всем, к сожалению, это было понятно — сила эта иногда направлялась не по назначению: одними — в угар пьяных воспоминаний, другими, особенно кое-кем из ершистых фронтовиков, она расходовалась попусту, — сопротивлявшихся стрижке под одну гребенку быстро обстругивали, а то и убирали с дороги. Наиболее ретивые администраторы — из породы бездушных — стремились выработать у всех и вся бездумное послушание, выбить геройскую спесь. Люди же усердные, целеустремленные, честные слуги народа, но недалекие, тоже главным препятствием разумному упорядочению жизни считали тех, кто действовал не по команде. а вразрез с возведенной в универсальный закон логикой, хотя если они давали себе труд разобраться в фактах жизни, условиях, характерах, то эта «крамола» и оказывалась часто наилучшим путем для решения конкретных и важных вопросов хозяйствования, морали, воспитания... **В общем, все было сложно, как бывает всегда в переходные периоды, на крутых поворотах.**(372)

В гостях у Сазонова

...Дверь открыли почти сразу. Видно было, что гостя ждали. Маргарита Павловна, пышная перезрелая блондинка с косой цвета тусклого золота, уложенной на голове словно круг подсолнуха, была в ярком, цветастом халате. Приветливо улыбаясь, она впустила Зуева в коридор и захлопотала, помогая гостю снять шинель. Из комнаты вышел сам хозяин. Широким жестом он пригласил Зуева. Из боковой двери в чуть открытую щелку высовывались любопытные детские мордочки с такими же, как у матери, светлыми волосенками. Румяные, пухлые щечки их горели от любопытства. Грозно нахмурив брови, отец нарочито строгим голосом шумнул на детей. А мать как бы ненароком толкнула бедром дверь и, счастливая материнской гордостью, дала Зуеву полюбоваться девочками.

Чтобы сказать что-нибудь, Зуев притворно изумился и спросил:

— И чем это вы их кормите? Как налитые... тыквочки. Отец громко засмеялся удачному срав-Стр.28
нению. Девочки действительно напоминали своими светлыми желтоватыми волосиками круглые жел-
тенькие тыквочки.

— Хватит вам тут прохлаждаться. — Маргарита Павловна повлекла мужчин в комнаты, перевязыва-
вая на ходу ленты пышного банта на боку. Роскошный халат ее, с крупными яркими розами, блестел
черным атласным фоном как полированный.

Маргарита Павловна Сазонова заведовала подвышковской хлебопекарней, и, к чести ее надо ска-
зать, заведовала на славу. Хлеб, поступавший в магазин, бывал всегда добросовестно выпечен и, глав-
ное, доставлялся без опозданий. Уже около года карточки отоваривались точно в срок и хорошим
хлебом.

На столе кипел самовар, отражая начищенными боками яркую лампочку под ядовито-оранжевым
абажуром. Комната была заставлена мебелью и множеством безвкусных безделушек: рамки из раку-
шек, раскрашенные ковыльные букеты в разнокалиберных подставках, старинные розовые раковины,
нежно отсвечивающие перламутром, многочисленные вышитые крестом и гладью салфетки и дорож-
ки, прилепленные к месту и не к месту. Теснота была создана изрядная. «Типичный русско-крымский
пейзаж», — оглядевшись, подумал Зуев.

Уселись за стол. Сидор Феофанович, переглянувшись с женой, тем же нарочито суровым басом по-
просил, будто приказал жене:

— Давай, Марго, тащи для уважаемого гостя заветную... Кинув кроткий взгляд и чуть сморщив но-
сик, жена Сазонова вытащила из буфета графинчик с немецкой пробкой и носатым «вайнахтсманом»
наверху. Потчевали гостя как-то особо торжественно портвейном явно трофейного происхождения.
Видимо, гости у Сазоновых бывали.

Зуев, чтобы сделать приятное, принимая от хозяйки налитую рюмку, похвалил ее работу в пекарне.
Польщенная, она очень тактично переадресовала комплимент в адрес коллектива. Но Зуев заметил
взгляд, брошенный в сторону мужа. Глаза спрашивали: «Так?»

— Народ у меня в пекарне хороший. Все женщины сознательные. Муку, правда, нам присылают по
разнарядке из области. Но у меня одно преимущество, — и опять спросив глазами разрешения у мужа,
она кивнула в его сторону мягким подбородком. — Топливом, дровами то есть, меня муженек выруча-
ет. Я уже знаю: для бани может не быть, клубу тоже откажет, а уж в пекарню всегда привезут что
получше. Все-таки для общего дела я не обхожусь без протекции, — захохотала она. — Вот и хлеба
получаются приличные — не хвалясь скажу. А потом у меня украсть трудно. Я за этим строго слежу...
Мужиков на работу не принимаю — пьянчужки все без исключения. Разбаловались на войне...

Сазонов строго постучал ложечкой по чашке, перебивая свою Марго.

— Договорились же — без служебных разговоров. Налей-ка чаю гостю, не видишь — остыл...

«Домострой? Отцы города?» — невольно подумал Зуев. Но все же позавидовал тому единомыслию,
с каким понимали муж и жена друг друга. «Без слов: мельком переглянуты, чуть заметный прищур
глаз, движение руки, и — как дуэт на двух флейтах...»

Девочек Сазоновы к чаю не звали. Маргарита Павловна, отложив на блюдечко пирожков и тщатель-
но отсчитав «парадные» конфеты в бумажках, отнесла все в комнату, откуда выглядывали детские
мордашки.

Жесты Маргариты Павловны, когда, не привставая, она подавала чашку гостю, подвигала рюмки,
наливала в них, были преисполнены спокойного достоинства и домовитости. Над столом мягко колы-
хались ее округлые формы. Халат, видимо, был сшит из непрочной, но броской по расцветке материи.
«Такая у нас не выделяется. Заграница», — подумал мельком майор. И еще заметил Зуев, что искус-
но уложенная на голове коса Маргариты Павловны, отливавшая золотом, — была накладной. «Хочет
походить на исконно русскую боярыню».

От выпитого вина и крепкого горячего чая Зуев разогрелся, разомлел. Его охватило ленивое спо-
койствие, почти безразличие. Жесткие складки накрахмаленных кружевных салфеточек, наводившие
на мысль о немецких чистеньких квартирках, уже не раздражали. О цели его визита будто забыли.
Разговор вертелся вокруг районных новостей, городских сплетен. И совершенно незаметно для Зуева,
с какой-то воздушной быстротой, хозяйка успела собрать со стола посуду, бережно, по складочкам,
сложила скатерть и вытащила из шкапулки, красовавшейся на комод, пухлую колоду карг. Мягким
шлепком, привычно и точно, она кинула их на стол перед мужем. Сазонов, не глядя на карты, придви-
нул их к себе и, чуть смущенно, предложил:

— Сгоняем, для приятного времяпровождения, в подкидного? А? — и добавил почти просительно:
— Разок...

Марго уже основательно усаживалась за стол, заботливо оглядываясь, чтобы устранить все Стр.29 помехи, которые могли бы оторвать ее от игры.

— В подкидного? — несколько удивился Зуев. — Ведь партнера не хватает. Это не игра: двое против одного.

А про себя он, неопытный картежник, подумал: будет ли игра идти на деньги и на какую сумму? Это соображение заставило его встряхнуться. Он не был охотником до карточной игры. И редко занимался этим даже в клятые дни «великих стояний» в обороне и на переформировках.

Сидор Феофанович заметил нерешительность Зуева и, ободряюще улыбаясь, забасил, сдавая пухлые, потемневшие карты с полустершимися картинками:

— Ты, Петро Карпыч, не смущайся. У нас в азартные игры на дому не играют. Мы вот с Марго даже преферанса избегаем — затягивает очень. Да потом такое дело — играть в преферанс без интереса нельзя. А мы так, для отдыха и улучшения настроения, между собой вдвоем в дурачка перекидываемся вечерами...

В первом часу ночи, тихо чертыхаясь Зуев подходил к своему дому. Огонь в кухне был погашен. Пришлось тихонько постучать в дверь. Было досадно, что надо будить мать

«И черт меня толкнул валандаться с этой семейкой Бесцельное и глупое занятие. Придумают тоже — вечера просиживать за подкидным дурачком... казалось вполне нормальным постучаться к себе домой. А сегодня?... И, еще раз робко стукнув в оконную раму, Зуев от злости на самого себя сплюнул в темноту.

Мать молча открыла дверь, зажгла свет и указала на печку, где, как всегда, дожидался приготовленный ему ужин. Зуев отрицательно покачал головой, молча разделся и потушил свет. Натянул одеяло до подбородка, но долго не мог уснуть. Безмятежная, спокойная жизнь Сазонова и вечер, бесцельно проведенный у него, почему-то взволновали Зуева. Ведь Петр Карпович ясно видел всю неправильность жизни Сазонова: карьеризм, самодовольство, административный раж... Но, странное дело, возмущаясь всем этим, он чувствовал, что в его собственной душе пробуждаются, пусть слабые, отголоски и желания в чем-то подражать Сазонову. Вот так бы спокойно пожить, не задумываясь особенно. Откуда-то, из глубины души, поднималась зависть именно к нему, к Сидору Феофановичу, а не к материально неустроенному, издерганному Швыдченке.

«Завидуешь? Чему? — думал он, пытаюсь разобраться в том, что ему понравилось в этом семействе и что возмущало. — Воспитание детей — стоит на уровне! — констатировал он. Но почему-то с неприязнью вспоминал чистых, упитанных девочек, так и не посаженных за стол. — Правильное воспитание: в разговоры взрослых не путаются, со стола ничего не хватают... — И тут же подумал: — А если посадить их за стол вместе со взрослыми, сумеют ли они вести себя прилично? Ведь все в жизни, особенно детской, передается примером, а не запретами... Обращение Сазонова к жене: «Марго» — тоже шло к ней как корове седло, — улыбнувшись про себя, продолжал разбираться Зуев. — Хотя, кажется, мама Марго ничуть не тяготится домашним начальственным-покровительственным тоном мужа. — Зуев привык уважать женщину, а особенно работающую женщину. — А этот зовет жену, партийку, как шансонетку какую-то».

Из-за этих-то отголосков, пробудившихся в глубине души, — точнее сказать, из-за той линии наименьшего сопротивления, которой больше всего боялся в себе и в других Зуев, — он, ворочаясь в постели, со злостью на самого себя думал: «Хочешь жить как Сазонов, а сам знаешь, что надо жить как Швыдченко! Что ж ты крутишь, будто не понимаешь, в чем ключ? В том, чтобы жить как весь народ живет — как мать, как Пимонин, как Зойка, как дядя Котя...»

Он несколько минут лежал как-то бездумно, а затем резко повернулся, так, что взвизгнула кровать. Словно схватив эту безвольную и противную зависть, за горло, он уже подумал и другом: **«А все же. откуда у них берется эта подозрительность ко всем? У Сазонова, Шумейки...»** И тут вдруг вспомнил, что во всей сазоновской квартире он не увидел ни одной книги, а газетами были аккуратно прикрыты сундуки и корзины в коридоре. Ясно было, что тут ничего не читают, газеты просматривают для проформы, внимательно изучая одни лишь директивы. Зуев вскочил с постели, зажег свет и долго листал свои конспекты, оглавления новых книг, присланных из Москвы. А мысли все-таки вертелись вокруг этой, так мучившей его в последние месяцы темы. И он не мог уснуть до тех пор, пока не записал в последнюю тетрадь, где конспект по философии уже давно перерос в подобие дневника, какую-то смесь из наиболее ярких постулатов философских систем и вызванных окружающей жизнью своих собственных раздумий:

«Подозрительность чаще всего развивается от незнания. Люди знающие — суть люди, уверенные в себе, в своем деле, в своих соседях и соратниках. Незнание же — это своеобразная

слепота, она сказывается и в обыденных, но, чаще всего, служебных делах. А в духовном общении людей она и оборачивается своим темным ликом — подозрительностью. Стр.30

В памяти всплыл ночной разговор в кабинете Швыдченки. Они же именно об этом и говорили. Только другими словами... И на страницы тетради легко легли четкие, ясно сформулированные фразы. Рука не успевала за стремительно бегущей мыслью.

В одном белье Зуев прошелся по комнате, поднял руку к выключателю, несколько секунд не решался повернуть его, затем подбежал снова к столу и добавил:

«...Подозрительность — спутник невежества! Знающий — доверяет, наверное, потому, что он всегда способен проверять!»

И удовлетворенно потянулся, потушил свет, лег в постель и сразу же заснул. (378-382)

Разговор Зуева с Пимониным

На следующий день он наведлся к Пимонину, считая, что заходит с одной целью — справиться о розысках власовца. Но долго не уходил, ждал, пока начмил подписывал какие-то протоколы. Поставив последнюю подпись и отпустив участкового, Пимонин улыбнулся:

— Все обдумываешь обстановку в международно-подвышковском масштабе? Верно?

Зуев, кисло усмехнувшись, кивнул утвердительно головой.

— Был вчера у Сазонова...

— Ругаться ходил? Или попал партнером в подкидного?

— Было такое дело, — ответил Зуев. — Ругался в душе, а в подкидного дулся до полуночи. Весь вечер собаке под хвост.

Пимонин захохотал:

— А ты говорил: уклон, заговор. А вышло просто болото, тина. Верно?

— Значит, никакой опасности нет? — зло спросил Зуев. — Значит, тогда, после конференции, мы с вами просто как кумушки судачили...

— Нет, почему же кумушки. Трясина ведь тоже опасна.

— Для кого?

— Для путника, чужака.

Зуев рассказал Пимонину о своих раздумьях.

— Ты Шумейку-то видел? Зуев кивнул утвердительно.

— Вот этот, брат, уже не тина. Этот просто сомневается в честных людях. Не верит никому. Меряет всех на свой аршин.

— А этот?

— Этот с того только и живет. Ну как бы тебе сказать...

— Деятельный бездельник, — подсказал Зуев.

— Во, во... и очень вредный.

— Что Шумейко во время войны делал? — выпалил Зуев. Пимонин засмеялся.

— Представь себе — воевал. Нет, тут ваша психология молодых фронтовиков дает осечку. Вот ты говорил как-то — на военный лад, мол, все повернуть. Да и теперь, наверно, считаешь своего брата фронтовика выше всех, достойнее, храбрее.

— А разве не так?

— Иногда так, а иногда...

— Например? — задиристо спросил Зуев.

— Ну вот взять твоего полковника Коржа и эту историю с танкистом.

Зуев насторожился.

— Ведь он храбрый человек, этот Корж, наверно.

— Храбрый, умный, авторитетный.

— А с твоим другом поступил трусовато. Да-да, — он не дал Зуеву раскрыть рта в защиту любимого командира. — **Тут, брат, храбрость разная требуется. На войне храбрость личная превыше всего ценится. А сейчас одной ее — мало. Здесь гражданской смелостью орудовать надо. И не все вояки, самые храбрейшие, ею, брат... как бы тебе сказать, вооружены.** (382-383)

Диктатура пролетариата

Такое мне вывез, что я уже было к Шумейко направился. А потом думаю: сначала согласую с райкомом...

Швыдченко насторожился, но молчал, ожидая, что скажет дядя Котя дальше.

— ...Стали мы диктатуру пролетариата проходить... Ну, это дело мне и на практике хорошо извес-

тно... Послушал я его маленько и говорю: давай дальше, следующий вопрос — насчет государ-Стр.31
ства и революции и тому подобное... А он все тут толчется вокруг да около, а я ему говорю: давай
дальше, потому как это дело нам кровное и хорошо известное, можно сказать, с пеленок. Вот тут-то он
и вывез.

Швыдченко встал из-за стола и подсел к дяде Коте.

— Что же он такое вывез, твой прикрепленный политрук?

— Да понимаешь, диктатура пролетариата — это дело временное... Нет, чуешь? Временное! У меня
аж голос сел. Это как же? — спрашиваю. А вот так, говорит: будет такое время, когда пролетариат от
своей диктатуры собственноручно откажется...

— Так и сказал? — блеснув озорно глазами, спросил Швыдченко.

— Ага, — небрежно, тоном прокурора, которому совершенно ясен состав преступления, подтвер-
дил дядя Котя. — Ну, стукнул я кулаком об стол по этим самым его тетрадкам с тезисами. «Да ты в
своем ли уме?» — говорю. А он цедит сквозь зубы: неизбежно... закономерно... и всякие другие
ученые слова. Ну тут я уж не стерпел. Тут уж я ему раздоказал! — и дядя Котя самодовольно потер
руки, хитро поглядывая на Швыдченку.

— Интеллигенция тонкошкурая, перебежчик и все такое? Так, так и разэтак?! — спросил секре-
тарь.

— Конечно! В самую суть стукнул!

Швыдченко вскочил, захохотал, бегая по кабинету.

— Ты чего, товарищ секретарь? — подозрительно поглядывая через плечо на смеющегося Федота
Даниловича, спросил Кобас.

Отсмеявшийся Швыдченко подошел к нему, положил обе руки на плечи дяде Коте, не давая ему
вскочить со скамьи, и, наклонившись, прижался к плечу старого кадровика.

— Понимаешь, товарищ Кобас, какое дело, — заговорил он тихо и задушевно, — это же Зуев тео-
рию марксизма старался тебе объяснить. Основы... самое главное то есть.

Кобас повернул голову, и лица их почти сошлись. Швыдченко продолжал:

— И по теории это действительно так, как говорил тебе Петр Карпович. Действительно, настанет
такое время, когда не будет необходимости в диктатуре пролетариата.(385)

О дураках

— Так вот, у древних была такая присказка: один дурак может задать больше вопросов, чем деся-
ток мудрецов смогут на них ответить. Это во-первых. Учти и не очень-то своего Карпыча вопросами
забрасывай, а прежде чем их задавать, сначала сам постарайся продумать. Ну, а во-вторых, ближе к
делу относящееся... Помнится, я тоже у Ильича вычитал, вот сейчас не вспомню точно где. Дурак от
умного отличается вот чем: все люди, все могут ошибаться, но умный человек, как только увидит ошибку,
сразу ее старается исправить. Вот поэтому он и умный... А дурак упрямится и упрямством своим даже
из маленькой, пустячной ошибки может сделать большую, а иногда и непоправимую. Вот. брат, как...

Долго еще сидели они, и когда Кобас ушел, крепко держа томик Ленина под мышкой, Швыдченко
наверняка знал, что расстались они друзьями.(386-387)

О единомыслии

Но только сейчас перед Зуевым осветилось и далекое-далекое будущее, и то ясное, конкретное, что
он должен сделать завтра, а может быть, и сегодня.

Конечно, сейчас это был уже не тот капитан Зуев, что возвращался с фронта. Хотя он и тогда не был
юнцом: прошел школу военной жизни и многому научился, — но теперь он немало почерпнул в науке
и не меньше в послевоенных сложных жизненных делах.

«Да, в науке особенно нужны люди мыслящие, то есть упорно и безжалостно думающие. Это мне
доказали книги и люди, среди которых я живу. Мыслящие, но не слепо доверяющие и тупо отрицаю-
щие. Это известно давно. **Мы же строим новое общество, на научных основах. Продолжаем стро-
ить, выйдя из такой войны! Но, к сожалению, боясь тех последствий, которых действительно
стоило опасаться в преддверии военного испытания, мы развели столько бездумно поддакива-
ющих!** А может быть, они-то и становятся питательной средой для тех, кто умную, целесообразную
бдительность подменяет глупой и слепой подозрительностью? Эти с того только и хлеб едят, что кри-
чат о своей верности высоким идеалам, да еще присваивают себе исключительное право быть ее хра-
нителями. Боясь же потерять эту не такую уж мудреную кормушку, они видят своего главного врага
именно в людях мыслящих. Они даже придумали такой ход: «Ах, он думает — значит, смутьян, обяза-
тельно додумается...» Этим они и выдают себя как гадкие прислужники невежд и бесплодные потре-

Зуев и не подозревал того, что пройдет всего пяток лет, и все эти подспудные, подсознательные и даже ему самому казавшиеся чем-то недозволенным ощущения станут явью и приведут к новым дорогам в жизни общества.

Но он не предполагал даже, какие пять лет ему предстоят впереди.(399)

Зажим честных людей

Зуев продолжал:

— Десятки и сотни рядовых колхозников и активистов... Тех, кто работает не просто для отчета и не для дутой цифры к сводке, — вот этих затирают, исподтишка мешают им. **Это не открытый саботаж, а, по-моему, гораздо хуже, более вредное.**

— Почему, товарищ Зуев? — спросил Седых.

— Потому, что трудноуловимое... Зуев замолчал.(407-408)

«Бегство» Зуева

Все происходящее в районе в последующие несколько дней смахивало на быстрый монтаж в немом кино. То закрытое, то расширенное бюро заседало три дня подряд. Были вызваны все председатели колхозов к секретари партийных организации. Седых расспрашивал каждого, давал деловые указания, предварительно выслушивая мнение Швыдченки, начмила Пимогина, Кобаса и других членов райкома.

Сазонов только один раз попытался было вставить несколько слов. по мнению Федота Даниловича, слов правильных, но Матвеев-Седых таким тяжелым, укоризненным взглядом повел в, сторону предрика, что тот втянул голову в плечи и стал похож на испуганного кролика колхозной фермы Свечколапа.

Ожидали оргвыводов. Но их не было.

— Все остались пока на своих местах, — комментировал Ильяшка Плытников, удивленно пожимая плечами. — Или, может, на бюро обкома вызовут? В исполкоме кабинет Сазонова, люди совсем перестали посещать.

— Обходят словно покойника, — пожаловался Зуеву Сидор Феофанович.

А затем вдруг полковник Корж позвонил военкому Новикову и вызвал к себе Зуева.

— Ты на меня зла не держи, полчок, — как-то странно начал разговор облвоенком. — Тут, брат, где-то в высших сферах вопрос решался. Видимо, откомандируют тебя. — И хитро улыбнулся. — А мое дело, я тебе скажу, собачье. Как прикажут, так и гавкну. Ровно в девять завтра в обком. Зайдешь прямо к Александру Семенычу.

— Это кто?

— Да Матвеев же Седых. Очень тобой интересовался, хвалил даже. Допытывался до подноготной. Все знает: и про Максименкова, и про твою московскую зазнобу...

— Это моя жена, товарищ полковник. И дочь у нас имеется, — отрезал Зуев.

— Когда же это вы успели? Вот проворный народ. Эх, жаль, не знал! Было в самую пору доложить. Это еще положительнее осветило бы тебя с моральной, так сказать, стороны. Ты об этом вверни обязательно.

— Ладно, вверну, — почему-то недружелюбно ответил Зуев.

— Ты чего это? — удивился Корж.

— Ничего. Так.

— Ну, гляди. Не обижайся. Я ведь по-дружески, как фронтовику, советую... Аттестация по команде и характеристика в обком даны нами вполне объективные.

На следующий день утром Зуев был уже в приемной.

Александр Семенович принял его радушно. Встал навстречу, поздоровался, усадил.

— Вот, состоялось решение бюро обкома. Посылаем в район товарищей для укрепления. Решили вашего Константина Дмитриевича Кобаса выдвинуть в райисполком. Это ты хорошо поступил, что проинформировал нас правильно. Толковый, дельный мужик ваш секретарь Швыдченко. Очень практически все хорошо улавливает...

— **А Сазонова куда?** — спросил Зуев. Александр Семенович поморщился, словно надкусил зеленое яблоко.

— **Сазонова? Да, понимаешь, придется послать на учебу...** — **И быстро перевел разговор:** — Тут нам полковник Корж докладывал о тебе. Хорошо докладывал. Очень, говорит, способный, вдумчивый ученый может получиться из бывшего вояки. Ну что ж, мы это приветствуем. Такие люди везде

Стр.33
нужны. Теперь такое время. А нас, помню, когда гражданскую войну кончали... Куда только не бросали нашего брата. И комиссарами в продотряды, и на партийную. и на хозяйственную работу. Я ведь даже с Фурмановым был знаком. По фронту, конечно. Так вот, есть у меня дружок, еще со времен борьбы с басмачами, академик Лунц, слышал небось?

Зуев подтвердил, что это имя ему хорошо известно. Подсев ближе к Зуеву, положив руку ему на колено, Александр Семенович сказал:

— Он к самому хозяину вхож. Лично от него задания получает. Так вот я с ним по вертушке сегодня поговорю. А полковник Корж обещал, так сказать, — по инстанциям. Направление и все такое. Ну и характеристика в личном деле будет, думаю, в порядке. В народе ведь как говорят: ум любит простор. Так ведь?

— Да вроде так, — ответил оторопевший майор.

— Ну, желаю успеха, товарищ Зуев. — Секретарь протянул руку.

— А как же Шамрай? — спросил вдруг Зуев. Он и сам не заметил, как это вырвалось у него.

— Это кто? — спросил Седых.

— Товарищ мой. Тот, арестованный напрасно... — И Зуев, волнуясь, быстро, в двух словах, рассказал о сути дела.

Матвеев-Седых отвел глаза от собеседника. Встал, походил по кабинету, постоял у большого окна.

Зуев ждал с нетерпением.

Александр Семенович подошел к нему:

— Ничем не могу помочь пока... В дела эти мы обычно не вмешиваемся. Ну, еще раз желаю успехов...

Все это было так быстро и неожиданно, что Зуев не успел ни обрадоваться за себя, ни возразить, ни обдумать странный отказ помочь Шамраю. Что делать? К тому же имя академика Лунца, человека почти недоступного аспиранту Зуеву, вдруг — совсем на партийных и служебно оформленных основаниях — оказывалось где-то почти рядом. Может быть, там, в Москве, удастся помочь другу. Когда Александр Семенович встал и крепко пожал руку Зуеву, тот ответил ему твердым мужским рукопожатием. Хотя и забыл поблагодарить, только просто, от всей души попрощался.

Зуев решил ехать в Москву на своих колесах. Поздно вечером он вернулся домой.

Сборы в дорогу, профилактика машины своими силами заняли одни сутки, оставшиеся до отъезда. Но во все эти наполненные хлопотами считанные часы его неотвязно преследовала мысль: «Надо бы съездить в звено Евсеевны, попрощаться с Горюном, попытаться объяснить им». Но Зуев все время оттягивал эту поездку.

«Вот в конце дня смотаюсь, — загадывал он, твердо веря, что непременно, бросив все дела, укатит к Маньке, заедет по пути в Орлы, попрощается с Манжосом, Алехиным... Но, как-то помимо его воли, неотложные дела так закрутили Зуева, что он и вечером не смог поехать в район. Только едва добредя до постели, вспомнил Зуев, что день прошел уже, а он все-таки не вырвался туда, и, засыпая, улыбаясь про себя, представлял себе начало разговора с друзьями.

«Что же, драпаешь? — неизбежно скажет кто-нибудь из них, насмешливо щуря честный глаз. — Кишка тонка оказалась на поверку? Или своей москвичке испугался ножки замарать?» И что же ответит Петр Карпович этим честным и прямым людям? Складывались в уме гладкие, убедительные фразы. Зуев кое-как заснул.

И только на рассвете, лежа под машиной, понял Зуев, что он обманывал себя, что даже самыми убедительными фразами не оправдал бы свой отъезд. И огорченно, но с облегчением Зуев собрался ехать не попрощавшись. Решительно обняв и расцеловав мать, газанул по улице, и только на повороте, взглянув на родной дом, заметил Сашку, сидевшего верхом на воротах.

Вот последний подвышковский дом, поле и хорошо накатанная после майских дождей, еще не пыльная дорога. Так он проехал километров около десяти, потом, миновав мост через Иволгу, с ходу вырвался на луговую дорогу по высокому обрывистому берегу. Еще километр на подъем за Дубками, и у тригонометрической вышки он остановило: и вышел из машины.

Отсюда, с самой высокой точки, были видны все окрестности. Вдали, за поймой Иволги, как дымящийся карандаш мелькнула труба спичечной фабрики, вон там, слева, Мартемьяновские хутора, а справа — зеленые, с четкими полями севооборота квадраты колхоза «Орлы». А там, за пролесками — колхоз «имени Заря», как именовал свое хозяйство старшина Горюн. Родные края тянулись до самой Белоруссии, откуда подувал ласковый западный ветерок. И кое-где зеленели люпиновые поля.

Людей на таком расстоянии не было видно. Но Зуев знал, что это руками его друзей земляков засеяны поля, их трудами возведены первые новые колхозные постройки.

Он вспомнил все, что было с ним в последние дни, и молнией блеснула догадка, что и ^{Стр.34} Швыдченко, и Пимонин, и полковник Корж, рискуя своей репутацией, сделали все, что могли... Они сознательно убирают его из Подвышкова. «...Чтоб спасти меня от преступных карьеристов. Да и у Седых, видимо, силенок не хватило на большее... Тоже решил закрыть глаза. Ну и на том спасибо...»

Вера в порядочных, честных людей с гражданской храбростью вспыхнула в нем с новой силой. Он подумал: что бы ни ждало его впереди, эта вера в хороших, сильных, по-настоящему благородных людей всегда будет жить в нем, так же как будет пылать в нем ненависть ко всему, что хочет помешать человеку оставаться человеком, участником великих свершений, великого созидания в его родной стране.

Долго Петр Карпович смотрел на запад, откуда ветер гнал барашки кучевых облаков. Необъяснимое чувство, которое испытал он во время позапрошлогодней поездки из Берлина в Москву, охватило его. Он долго смотрел вдаль, а затем смахнул выбитую ветром слезу, сел в машину и нажал на стартер.(409-413)

1950 - 1960 г.г.